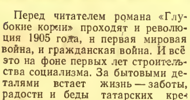
ГАЛИМДЖАН ИБРАГИМОВ

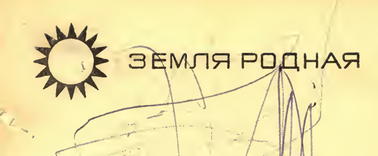
ГЛУБОКИЕ КОРНИ

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ



Перед читателем романа «Глубокие корни» проходят и революция 1905 года, н первая мировая война, и гражданская война. И всё это на фоне первых лет строительства социализма. За бытовыми деталями встает жизнь — заботы, радостн и беды татарских крестьян.

В этой кнnге рассказывается о борьбе коммунистов, комсомольцев с кулаками, с врагами Советской власти, которые не останавливались и перед убийством своих протнвников. Воссоздается широчайшая картина жизни тогдашней Татарии, обнажаются глубокие социально-нравственные корни поведения различных классов и прослоек в дни революции и гражданской войны. Атмосфера произведения накалена огнем классовой борьбы.



ГАЛИМДЖАН ИБРАГИМОВ

ГЛУБОКИЕ КОРНИ

РОМАН

Перевод с татарского
Р. Фаизовой

Казань Татарское книжное издательство 1973

С(Тат)2
И15

Галимҗан Ибраһимов. Тирән тамырлар. Роман. Казан, Татарстан китап нәшрияты, 1956.

И $\frac{0733-060}{М132(03)-73}$ 103—73

простым возчиком, ежеминутно подвергаясь смертельной опасности, Г. Ибрагимов выполнил ответственное поручение.

Второй Галимджан Ибрагимов — крупный ученый, внесший большой вклад в историческую науку и татарскую филологию.

Еще шакирдом он написал свой дерзкий трактат: «Коран от бога или нет?», в котором бросил вызов всей средневековой схоластике. Его позднейшие историко-публицистические труды «Октябрьская революция и диктатура пролетариата», «Муллануур Вахитов», «Революционное движение среди татар», «Татары в революции 1905 года» и другие до сих пор не утратили своего значения и являются ценными первоисточниками для современных исследователей.

Его капитальные научные монографии «Морфология татарского языка», «Синтаксис татарского языка», «Теория литературы», «Как обучать татарскому языку», хрестоматия «Новая литература», многочисленные статьи и рецензии сыграли огромную роль в становлении татарской филологии.

Но помимо собственных исследований, Г. Ибрагимов вел большую организационную работу, готовя новые кадры литераторов, ученых и преподавателей из татар. В 1925 году решением правительства Татарской республики он был назначен председателем Академического центра, ведавшего всей научной и культурно-просветительной работой в республике, членом коллегии Татнаркомпроса. Пятый съезд Советов избрал его членом ТатЦИКа и назначил председателем комиссии по переводу и изданию на татарском языке сочинений В. И. Ленина.

И, наконец, третий Галимджан Ибрагимов — выдающийся писатель, классик татарской советской литературы.

Его литературно-творческая деятельность началась с 1907 года, когда был опубликован его первый рассказ «Изгнание из медресе шакирда Закия». По силе обличения схоластических методов обучения рассказ этот можно сравнить с «Очерками бурсы» Г. Помяловского. Затем Г. Ибрагимов пишет целую серию то реалистических, то романтически-приподнятых рассказов, повестей, романов, где выводит галерею метко схваченных социальных типов того времени: крестьян и баев, батраков и помещиков, купцов и приказчиков, мугаллимов и шакирдов, ишанов и мулл. Особо следует выделить многоплановый, социально-насыщенный роман Г. Ибрагимова «Наши дни» и написанные уже после Октябрьской революции повести «Красные цветы» и «Новые люди».

В действительности, конечно, не было трех Ибрагимовых, был один Галимджан Ибрагимов — крупнейшая фигура в истории татарской литературы и общественной мысли первой половины XX века, человек энциклопедических знаний, невиданной работоспособности, разносторонних интересов, огромный авторитет. И все лучшее, что было накоплено писателем за годы его нелегкой, богатой событиями жизни — большой жизненный опыт, умение разбираться в людях и сложных классовых противоречиях, высокая идейная убежденность, преданность делу ленинизма — все это нашло отражение в лучшем произведении Г. Ибрагимова, являющемся вершиной его литературно-творческой деятельности,— романе «Глубокие корни».

Замысел романа «Глубокие корни» возник у писателя в 1923 году, когда он узнал из республиканской газеты об убийстве кулаками активного селькора. Вначале Г. Ибрагимов собирался написать не-

большой документальный рассказ об этом событии. Но по мере работы над произведением частный жизненный факт отошел на второй план. Он сыграл лишь роль своего рода катализатора, пробудившего дремлющие пласты творческой памяти.

Писатель, по своему обыкновению, долго вынашивал идеи и образы будущего произведения и по-настоящему приступил к работе над романом лишь в 1925 году в Сочи. К началу 1926 года роман был в основном завершен. Но огромная организационная работа и усилившаяся болезнь помешали ему своевременно завершить произведение. Поэтому роман «Глубокие корни» был опубликован лишь в 1928 году.

Роман начинается лаконичной и интригующей фразой — «Убили Фахри». Эта фраза, сразу же, с подчеркнутой деловитостью и внешним беспристрастием вводя читателя в курс дела, одновременно рождает множество вопросов: Кто убил? Почему? За что? Что скрывается за этим убийством? Начинается следствие. Перед нами один за другим проходят все новые и новые персонажи, сюжетные нити разветвляются. Во второй половине романа писатель вновь собирает все эти нити в единый тугой узел. Только на судебном заседании читатель, наконец, узнает главного виновника злодейского преступления, бывшего богача Вали Хасанова. Заканчивается роман такой же короткой и емкой фразой: «Вали Хасанова расстреляли ночью в лесу».

В критике уже не раз указывалось, что роман «Глубокие корни» по своему композиционному построению напоминает детективные произведения. Но это сходство чисто внешнее. По своему содержанию роман Г. Ибрагимова — это большое многоплановое эпическое полотно, показывающее напряженность классовой борьбы в деревне после победы Октябрьской революции, вскрывающее «глубокие корни» социальных противоречий и проникнутое предчувствием новых кардинальных перемен.

Писатель выдвигает на первый план не личные, а социальные мотивы убийства. Фахри — человек, у которого на уме было одно — «артель, коммуна, колхоз». Это и вызвало звериную ненависть классовых врагов. Хотя живой Фахри и не появляется на страницах романа, в ходе расследования дела об убийстве деталь за деталью, черточка за черточкой перед нами вырисовывается его обаятельный образ. Это — человек, всего себя отдавший делу революции. Ему, занятому большими общественными делами, некогда подумать о собственном гнезде. Поэтому жена его долгие годы ютится с детьми в развалюхе. Он боролся за Советскую власть на Восточном и Северном фронтах и не намерен давать спуска «контре», какое бы обличие она ни принимала.

Остроту социальных конфликтов подчеркивают и картины пейзажа. Вот строки из самого начала романа:

«Была темная майская ночь. Начавшийся с вечера дождь не прекращался. Дул порывистый ветер. Разрывая глухую темень, нависшую над землей, сверкали молнии, с жутким грохотом, точно где-то рушились горы, гремел гром».

Эта картина в сочетании со сценой загадочного убийства рождает атмосферу тревожного ожидания. И только много позднее становится ясным глубинный подтекст этого описания: рушатся старые устои жизни, в крови и муках рождается новое общество, за победу кото-

рого и отдал свою жизнь Фахри. Точно такой же глубокий символический смысл имеет описание старого дуба, который буря вырывает с корнем.

Писатель не торопится сразу же раскрывать все карты. Вначале подозрение падает на приехавшего из города рабочего Садыка. Все улики против него: и окровавленный шкворень, который несколько дней назад он брал у деда Джиганши, и то, что в этот день его видели вместе с Фахри, и их мнимая ссора. Все логично: враги, чтобы отвести от себя подозрения, специально подстроили дело так, чтобы очернить Садыка. Для Ибрагимова это сознательный и очень тонкий литературный прием. Он дает возможность обратиться к биографии Садыка, обрисовать весь его жизненный путь. Писатель не идеализирует своего героя: в молодости тот мог и подраться, и выпить, и сорвать злобу на жене. На этих его отрицательных черточках и пытаются спекулировать враги. Но чем дальше, тем очевиднее: нет, не мог такой человек, все силы отдавший борьбе против царизма и классового угнетения, убить Фахри.

Образ Садыка рождает в сегодняшнем читательском восприятии две параллели. Первая — это образ Павла Власова из «Матери» Горького, вторая — Давыдов из «Поднятой целины» Шолохова. Роман М. Горького «Мать» принадлежал к числу любимейших произведений Г. Ибрагимова, но о влиянии романа М. Шолохова говорить нельзя, ибо роман «Глубокие корни» опубликован намного раньше «Поднятой целины».

Сквозной нитью через роман Г. Ибрагимова проходит идея преемственности революционных традиций. Садык многому научился у русских борцов-революционеров. Отца Фахри, Тимершу, каратели казнили за подстрекательство к мятежу и захват барской земли. Этой же цели служат и кажущиеся на первый взгляд случайными сцены восстания вилочников.

Большое место уделено в романе и образам отрицательных персонажей. Причем, если одни из них, например, Вали-бай, описаны подробно и всесторонне, то другие даны лишь пунктирно. Таков, например, образ беспробудного пьяницы, недоумка Ахми. Уже с первого его появления на страницах романа нетрудно представить, что это за человек.

«Отворилась дверь. В избу, приниженно кланяясь, вошел крестьянин в облезлой войлочной шляпе, в ветхом чувашском чекмене, подпоясанном веревкой, в плохих стоптанных лаптях, надетых на грязные, залубеневшие вязаные чулки. Он был высок ростом, но весь какой-то жидкий, расхлябанный. Лицо у него было нечистое, вывернутые веки воспалены.

Растерянный, напуганный, он озирался по сторонам бессмысленным, животным взглядом».

С помощью таких несознательных элементов враги и вершат свое черное дело.

Современный читатель, вероятно, обратил внимание и на целый ряд недостатков и шероховатостей романа. Некоторые колоритные образы, намеченные в самом начале романа, исчезают затем из поля зрения. Другие, имеющие немаловажную роль в развитии сюжета, так и остаются в тени. Описание судебного процесса занимает почти треть романа, а мотивы, толкнувшие Вали-бая на убийство, перечислены лишь скороговоркой. Порой в тексте романа встречаются явные

повторы. Все эти недостатки объясняются внезапно усилившейся болезнью писателя, помешавшей ему до конца отшлифовать свое произведение.

Но, несмотря на все эти шероховатости, роман Г. Ибрагимова занял достойное место не только в татарской, но и во всей советской многонациональной литературе. Можно согласиться с исследователем творчества Г. Ибрагимова М. Хасановым, который пишет в своей монографии:

«По широте и глубине проникновения в народную жизнь, полноте и разнообразию человеческих характеров, глубокому постижению социально-философского смысла изображаемых явлений и силе реализма «Глубокие корни» занимают выдающееся место в татарской советской литературе... Другого произведения, равного этому роману по своей широте и глубине охвата послеоктябрьской социальной действительности,... в татарской литературе тех лет не было»[1].

Думается, слова эти в достаточной мере проясняют долговечность и притягательную силу произведения Г. Ибрагимова.

Рафаэль Мустафин

---

[1] Мансур Хасанов. Галимджан Ибрагимов. Казань, 1969, стр. 357.

I

Убили Фахри.

Была темная майская ночь. Начавшийся с вечера дождь не прекращался. Дул порывистый ветер. Разрывая глухую темень, нависшую над землей, сверкали молнии, с жутким грохотом, точно где-то рушились горы, гремел гром.

Гайшэ не смыкала глаз. Надеясь, что муж вот-вот вернется, она то и дело разогревала самовар. Но когда время перевалило за полночь, не выдержала, побежала к соседу — военному курсанту комсомольцу Шаяхмету.

Под проливным грозовым дождем они вместе пошли к председателю сельсовета Тимеркаеву.

Тот уже спал. На стук в ворота одна за другой забрехали по деревне собаки. Отчаянный лай пробудил и хозяина. Отворив окошко, он высунулся на улицу:

— Что там?

Гайшэ близко придвинулась к окну и тихо, взволнованно сказала:

— Как быть, Шангерей-абзы? [1] Фахри не пришел. Боюсь я, не случилось ли чего?

— На Фахри-абзы многие точат зубы,— глухо добавил Шаяхмет.

---

[1] Абзы — дядя; обращение к старшему по возрасту мужчине.

Тревожно стало и Шангерею, сна как не бывало. Он мигом надел лапти, накинул на себя чекмень и вместе с Гайшэ и парнем-комсомольцем отправился в сельсовет. С этой ночи и начались поиски.

Не зная роздыху, пристегивая, как говорится, ночь ко дню, день к ночи, облазили все окрестности. Только не нашли и следа Фахри. Уж кажется, не оставалось никаких надежд, как вдруг на четвертые сутки притащился домой весь отощавший пес Акбай — старый друг Фахри. Полными слез глазами посмотрел он на собравшихся вокруг людей и, жалобно повизгивая, побрел обратно и все оглядывался — идут за ним или нет.

День тогда зародился весь в тучах. Небо висело сумрачно-тяжелое, грузное.

Байраковцев охватывало сомнение, но старый пес смотрел на них такими молящими глазами, что они невольно следовали за ним.

На крутом лесистом берегу Волги, как раз между Байраком и совхозом «Хзмэт»[1], есть глубокий овраг Яманкул. И верный Акбай, вероятно, обегавший в поисках хозяина все ближайшие леса и горы, привел крестьян к этому самому Яманкулу.

Моросил дождь. Трава намокла, под ногами хлюпало, и было скользко, но никто не замечал этого. Первым за Акбаем сполз в овраг Шаяхмет. За ним — остальные.

Акбай не ошибся. На дне оврага в разросшихся кустарниках лежал Фахри.

Лицо его было продавлено и сплошь запеклось кровью, череп проломлен, желтовато-белой массой вытек мозг, на шее и левом плече комками засохла окровавленная глина...

Быстро донеслась горькая весть до байраковцев. И в ту же минуту, в ту же секунду мужики, бабы, детвора — все от мала до велика — побросали свои дела, занятия, позабыли об играх и двинулись к оврагу Яманкул.

Крестьяне любили Фахри. Любили в нем своего, родного человека, который коренником тащил их тяжелый воз. Его гибель, уход его из их жизни вызвал у всех острое чувство осиротелости. Темным облаком легло го-

---

[1] Хзмэт — труд.

ре на лица крестьян. Не зная, что сказать, онемев от ужаса, смотрели они на обезображенный труп Фахри.

Вместе с другими пришел сюда и дед Джиханша. Крупный, всегда державшийся прямо, он сейчас сгорбился. Не в силах вымолвить ни слова, задыхаясь от слез, помогал он Шангерею переложить тело Фахри на рогожу и вдруг заметил валявшийся тут же рядом окровавленный железный шкворень. Дед вздрогнул. Шкворень показался ему знакомым, и он протянул за ним руку. Но что-то удержало его, ему стало страшно. А глаза снова и снова находили шкворень: толстый конец его был обмотан пеньковой веревкой, в маленькое отверстие на тонком конце продет кривой гвоздь. Старик ткнул длинной своей палкой в гвоздь, потом в обмотку на шкворне и растерянно проговорил:

— А ведь шкворень-то мой! — И сразу осекся, словно испугался собственных слов.

Гайшэ, которая, вся поникнув, сидела тут же на мокрой траве, медленно подняла залитое слезами лицо и непонимающим взглядом уставилась на старика. Остальные тоже круто повернулись к нему. С той поры, как исчез Фахри, мысль о нем, не переставая, сверлила всем мозг, неизвестность угнетала, давила. И теперь, когда Фахри нашли убитым, слова деда Джиханши потрясли всех.

Чувствуя, что взоры людей обращены к нему, дед еще раз ткнул палкой в шкворень, затем взял его в руки, повертел и тем же срывающимся голосом подтвердил:

— Точно, он!.. И гвоздь тот же, и обмотка моя...

Гайшэ и Шангерей одновременно сделали движение, собираясь что-то сказать, но их опередил курсант Шаяхмет. Бледный, испуганный, он шагнул к старику:

— Ты что говоришь, дед? Ты же собственную голову под удар подставляешь! — Помедлив немного, добавил: — Если шкворень твой, почему же он в крови Фахри-абзы?

Слова курсанта страшно возмутили деда Джихаишу. Как будто у него прямо спросили: «Это ты убил Фахри?» Обычная сдержанность оставила деда, старое, высохшее лицо передернулось, глубоко запавшие глаза вспыхнули обидой и гневом.

— Что я, бандит, человека убивать?! — крикнул он.—

Ты сам-то можешь уразуметь, что болтает твой язык?! — И неожиданно замахнулся на Шаяхмета палкой.

Шаяхмет, вздрогнув, отвел занесенную над ним палку и продолжал свое, хоть и несколько мягче:

— Ты напрасно обижаешься, дедушка Джиханша! Ведь я не сказал, что ты убил. Я спрашиваю про шкворень: как он попал в овраг. Только об этом я и спрашиваю у тебя!

Крестьяне молчали.

Шаяхмет все продолжал допытываться, расспрашивал деда Джиханшу, стараясь докопаться до истины. Старик отвечал с горечью и обидой, и чем дальше, тем ожесточеннее становился разговор между ними...

Будущей осенью Шаяхмету минет девятнадцать лет, пойдет двадцатый. В первые годы кровопролитных революционных боев он был еще мал, но подвиги его родных братьев и многих других людей совершались на глазах Шаяхмета. В восемнадцатом году, после вступления чехов в Казань, он сам видел, как под конвоем вели в тюрьму Мулланура Вахитова, а когда узнал, что того расстреляли, две ночи был точно в бреду, не мог сомкнуть глаз. Это при нем избили его брата Бирахмета и, привязав к конскому хвосту, волочили, пока не замучили насмерть. Самоотверженная борьба Фахри, кочегара Садыка, Шангерея и многих-многих других оставила в его душе неизгладимый след. Пролитая ими кровь, их муки, их геройство зажгли в юном сердце Шаяхмета желание стать таким же, как они.

Если Шаяхмета окрыляли мечты о грядущих днях и будущих подвигах, в которых он непременно видел и самого себя, то старого Джиханшу наполняло гордостью его прошлое. Он считал, что жертвы, принесенные им во имя Советов, пролитые им слезы, горе, пережитое в борьбе за Советы,— все это дает ему право называться солдатом революции. То, что он хоть под конец жизни увидел плоды своих надежд, бесконечно радовало его старое, израненное ударами судьбы сердце.

Нелегкую прожил дед жизнь. Выпало на его долю с лихвой и горя, и тяжкого труда.

В девятьсот пятом году его младшего брата Тимершу на глазах у всей деревни подвесили к колодезному вороту, посекли саблями его тело и, посыпая солью живые раны, убили мученической смертью. Тогда и посе-

дела у Джиханши голова. Двух сыновей отдал он пролетарской революции. Старшего звали Ахметша, младшего — Мухамметша. Были они крепкие, ловкие, смелые, ни перед чем не ведали страха. Коль надо было работать — они первые засучивали рукава. Первыми в деревне были и в играх и в веселье. При одном упоминании о сыновьях Джиханши у девушек занимались огнем сердца, туманились головы. Но вот навалились в восемнадцатом году чехи, за ними появились колчаковцы. Весь рабоче-крестьянский люд поднялся против них. Не остались в стороне и сыновья Джиханши.

— Не сетуй, отец, что покидаем тебя одного под старость. Если придется сложить головы, прости! — сказали они и добровольцами пошли на фронт под красным знаменем.

Семь боев прошел невредимым старший. Получил за храбрость орден. А когда освобождали Крым, под Перекопом снес ему вражеский снаряд голову.

Младший, Мухамметша, погиб летом девятнадцатого года при бомбежке переправы через реку Белую, когда, преследуя армию Колчака, шел с двадцать пятой дивизией к Уфе.

— Я Советам двух львов дал!—говорил дед Джиханша, вспоминая своих сыновей.— Я своей кровью защищал Советы! — И склоненная под гнетом жизни голова его поднималась выше. Оттого и задели старика так больно обидные, резкие слова комсомольца Шаяхмета. Но он уже вновь обрел самообладание и, превозмогая себя, обратился к собравшимся:

— Сказать язык не поворачивается, молчать тоже нельзя... Ведь шкворень-то у меня Садык брал. Стар я стал, запамятовал.

Много смутных мыслей вызвало у людей убийство Фахри. Черная тень подозрения ложилась то на одного, то на другого, но никому и в голову не пришло заподозрить кочегара.

То, что услышали крестьяне от старика, поразило их как гром среди ясного неба. Все растерянно переглянулись.

— Когда брал? Для чего? — оторопело спросил Шангерей.

Джиханша стал припоминать:

— Так.. день-то вроде субботний был... Одна нога

у него была обута, другой сапог в руке держал... Прихромал ко мне и просит: «В сапоге на пятке гвозди пробились. Дай-ка шкворень, сбить надо...» — «Ладно, говорю, бери, вон он там лежит...»

Дед медленно рассказывал о том, что произошло тогда, и слова его, казалось, превращались в тяжелые цепи, готовые опутать кочегара.

Садыка знали все, и он пользовался здесь большой любовью. Был он как-никак их зятем — из их деревни девушку взял себе в жены. А главное, в свое время наставлял их, растолковывал, как получить землю, помогал Фахри в городе, когда тот ездил улаживать дела с переселением деревни из Старого Акташа в нынешний Байрак.

Никто не смог сказать о нем что-либо дурное. Лишь жена Шангерея Рагия, которая всю жизнь недолюбливала кочегара, не стерпела, выложила накипевшую злобу:

— Напасти-то какие, батюшки! Видать, светопреставление наступило, приезжают в гости в твой дом и тебя же убивают! Упаси, господи! — И добавила с ненавистью: — Он! Он и есть! Дед Джиханша напраслины не скажет! Никто другой, только Садык мог это сделать!..

— Придержи язык, Рагия,— резко оборвал жену Шангерей. — Несет неведомо чего! При чем тут Садык? Они же были самые близкие товарищи! Дура!

Спор разгорался.

Стоявший до этого в стороне низкорослый, косоглазый старик Гимади тоже вмешался в разговор. Он прошел, шаркая лаптями, в круг и, как всегда, неторопливо завел:

— Слово, говорят, за слово цепляется. Скажу и я, коли так. Запало мне в душу одно сомнение. Три дня прошло, три ночи... А оно все гложет меня. Я и говорю: пили небось вместе, перепились. Характер-то ведь был что у одного, что у другого — ой-ой!.. Вот небось взял да и стукнул чем ни попадя... Ведь они всю жизнь зубы точили друг на друга...

Косому старику не удалось договорить. Его слова точно кольнули и вывели из оцепенения Гайшэ, согнувшуюся под тяжестью невыносимого горя.

— Что ты говоришь, Гимади-абзы,—недоуменно спросила она, поднимая на старика опухшие от слез гла-

за.— Откуда ты взял, что они зуб имели друг на друга?

— А как же? — повысил голос Гимади.— От чьей руки шрам-то иа лбу у кочегара?

Женщиииа даже всплеснула руками:

— Только-то? Да в молодости кто спьяну не дерется? Не греши лучше, ие выдумывай иасчет вражды между ними. Фахрн всегда-всегда говорил: кочегар мой учитель в революции...

Но когда старик расходился, его трудио было урезоиить.

— Ты ие больио-то заступайся! — грубо прервал ои Гайшэ. — Знаем мы Садыка! С виду друг, а в душе — чериая змея!

— Напраслину ты возводишь, вредный у тебя язык!— промолвила Гайшэ. Однако сейчас ей было ие до пререкаиий. «Приедут, разберут», — подумала оиа н отошла к деду Джиханше.

Шаяхмет, хоть и сам недавио чуть было не сцепился с Джиханшой, пришел в негодование от слов Гнмади. Как ни сдерживал ои себя, чтобы не поднимать ссоры, а ие стерпел, крикнул возмущенно:

— Эх, дед! Так, видно, и пройдет твоя жизнь. В чью телегу сядешь, того н песню поешь! Ты что, взялся подпевать кожевнику Вали?!

Шангерей не дал ему договорить, подозвал к себе:

— Беги, Шаяхмет, в кузню! Скажи своему джнзни [1], чтобы возвращался скорее! Тут о нем невесть что болтают.

Шаяхмет вскарабкался по склоиу оврага вверх, затяиул потуже ремень н, зажав в руке свой красноармейский шлем, быстро зашагал к лесу. Вскоре ои скрылся в березняке, тянувшемся до самого Байрака.

Дождь уже перестал. Возле деревнн, у околичиых ворот, остановилась лошадь, впряженная в телегу.

Шаигерей, выбравшнйся наверх вслед за Шаяхметом, издалека узиал старого хромого мерина, а в одном из сидевших в телеге — Петрова, бывшего фронтового друга.

Как только обиаружился труп Фахри, Шангерей тотчас же погиал посыльного в волисполком. И сейчас,

[1] Джизни — муж старшей сестры или родственницы; иногда так обращаются и к мужу женщины из близкой семьи.

когда ои увидел исполкомовскую упряжку, на душе у него сразу стало легче.

Убили Фахрн. Великое, жестокое горе. А тут вдобавок, точно соль иа рану сыплют, про кочегара слухи распускают один страшиее другого. И шквореиь, мол, и шрам на лбу, и еще что-то!..

Совсем было растерялся Шангерей. Сколько ни думал, не мог разобраться в этой тяжелой, запутанной истории. Теперь ои облегчеиио вздохнул, словио те, приехавшие, уже приияли на себя часть его иепосильиого бремени. Ои обериулся к крестьянам, которые выбирались из оврага с телом Фахри, все еще продолжая спорить между собой, и с укоризной сказал:

— Довольно вам! Могли бы и не галдеть иад покойииком! Вои приехали, расследуют, выясият все.— И показал рукой в стороиу деревии.

Шум мгиовеиио пресекся. Гайшэ, дед Джиханша, Рагия, Гимади — все проводили глазами телегу.

Надо было торопиться в деревию.

II

Недавио иапали иа след известиого вора Чумара. Схватили еще и других бандитов, порядком изводивших жителей окрестных деревень. Клубок иачал разматываться и привел к одиому работику волисполкома, от иего нить потяиулась к секретарю машиино-товарного общества «Трактор». Дотяиулась оиа и до заместителя председателя кооператива.

Для расследования преступлеиий всей этой шайки из города прислали коммуииста чуваша Паларусова. Четверо суток вел ои дозиаиие. Допросил пятьдесят четыре человека. Двеиадцать преступииков — русских, татар, чувашей — отправил в город, в тюрьму.

Закоичив предварительиое следствие, Паларусов собрался ехать обратно в город. Запрягли лошадь, чтобы отвезти его иа пристань. Но когда Паларусов с пухлым от бумаг брезеитовым портфелем в руке усаживался в телегу, в дверях волисполкома показался худой мужчииа с длиииыми светло-русыми волосами и окликнул его:

— Товарищ Паларусов! Подождите минутку, дело есть!

Паларусов оглянулся и увидел спешившего к нему Петрова, агента уголовного розыска.

— Из Байрака человека прислали. Фахри нашли убитым. Мне надо ехать туда. А вы?

Вопрос Петрова был задан таким тоном, что его приходилось понимать не иначе, как: «Вы, разумеется, тоже отправитесь со мной?»

Паларусов сощурил и без того узкие глаза, задумался, точно очутился на распутье и ему предстояло решать: какую из двух дорог выбрать?

Не сегодня-завтра в городе начнется партийная конференция. Он избран делегатом и, конечно, должен быть там к открытию. Оппозиция ведет тайную подготовку. Чтобы сорвать ее замыслы, надо вовремя перейти к активным действиям. Кроме того, в числе других дел на конференции будут решаться два важных экономических вопроса, особенно занимавших Паларусова.

А тут еще весть об убийстве Фахри. Следователь не может ни отказаться от выезда на место преступления, ни отложить его. Все эти мысли, сталкиваясь одна с другой, промелькнули в голове Паларусова. Надо было принимать решение.

— Когда прибудет пароход? — с заметным чувашским акцентом спросил он Петрова.

— По расписанию — в семь... На несколько часов опоздает...

«Может, успею обернуться,— подумал Паларусов,— ведь другого выхода нет».

— В таком случае едемте,— сказал он. — И пусть милиционер сейчас же выезжает. И в больницу передайте: надо немедленно послать доктора, возможно, придется вскрывать.

День прояснился. Полуденное солнце щедро грело землю.

Петров с Паларусовым сели в телегу и покатили в Байрак.

Путь этот был давно знаком крупной сивой лошади, запряженной в телегу. Еще когда здесь проходили линии многих фронтов, сивке приходилось возить грузы по этим дорогам. Перевозил он и чехов. Только вот колчаковцы подбили его. Когда красные отступали, а сивка

был в их обозе, осколком снаряда задело ему заднюю ногу.

«Все одно подохнет»,— сказали возчики и хотели уже пристрелить коиягу, ио какой-то старик чуваш выпросил его себе: «Подохиет так подохиет, а колн нет — мое будет счастье».

Повезло старику: лошадь выжила. Два года работала иа иего. А там иачалась голодуха. Помер тот чуваш с голоду. И сменялн высохшего до кости снвку иа полтора пуда лебедовой муки. Трудио понять, как он не протяиул ноги. Но прошли тяжелые годы бескормнцы, н снова взбодрился снвка, сиова отъелся. И вот уж третий год работает в волисполкоме. Работа нетрудная. Насчет корму тоже хорошо: сеиа всегда вдоволь. И овес коекогда перепадает. Раз в иеделю выгоияют иа луга, иа зеленую травку. Случается даже попадать в ночное, тогда ои до утра пасется на лесной поляне, наслаждается сочиой росной травой.

Так и идет жизнь — светло, спокойно. Тащнть тяжелые грузы сивке вовсе ие приходится. Да и места, куда он возит исполкомовскую телегу, недальиие. Дороги все знакомые. Вот и сейчас, как дотрусил до развнлкн дороги, подумал: «Куда, интересио, едем? На прнстаиь, пожалуй...» — и хотел уже пуститься по большаку, ио вожжн дернулись вправо, и опытный сивка тут же сообразил: «В Байрак, зиачит, поехали!» — и размеренным, машистым шагом, чуть припадая иа заднюю ногу, побежал по дороге, пролегшей меж зелеиеющнх пашен.

Ярко сияло солице. Все вокруг, словио н не было иедавией хмури, озарилось весеиним, мягкнм светом.

Апрель иынче выдался холодиый. Пасмурные, дождлнвые стояли и первые две иеделн мая. Но в последнне дни небо проясиялось все чаще, начало припекать солнце. И хотя снова прошло несколько грозовых дождей, в воздухе потеплело.

Простореые поля, низовые луга, шнрокне леса — все покрылось зеленым покровом, все задышало радостью. По зелеиому бархату полей веселым узором рассыпалнсь цветы — белые, алые, желтые, голубые, синие. А иад иими, перелетая с веичика иа венчик, беспрестанно резвнлись бабочкн, жужжали, собнрая сладкую даиь, иеугомонные пчелы. Взбудоражеииые весенним воздухом, копошнлись в травах букашки. Стосковавшись после

зимнего расставанья, вернулись из-за дальних морей птицы, — соловьи, белогрудые ласточки, друзья пахарей жаворонки славили родную землю, красоту обновленной природы. Легко носясь в травах и цветах, взлетая на ветки деревьев, они с веселым теньканьем, с песнями вили гнезда для будущих своих птенцов.

После тяжелой, суровой зимы вышли под весеннее солнце пахари, старые и молодые, и, не жалея сил и труда, вспахали отогревшуюся землю и засеяли ее, разрыхленную, чистыми семенами, доверили природе, благодатному ее теплу, свету все свои надежды: вот семена пустят корни, проклюнутся стебельками, прорежутся листьями... Дадут богатый урожай... Порукой их доверию было жаркое в небе солнце, буйное весеннее ликованье, охватившее все живое вокруг. Вместе с травами, цветами, с пестрым роем бабочек, щебечущими птицами радовался и пахарь. Ему казалось, что впереди ждут его дни, такие же яркие, как это весеннее празднество. Светлые полосы всходов пшеницы, овса, темные клинья не расцветшей еще гречихи на обширных полях делали радость пахаря глубже, весомей. Он верил, что так же, как пришла за суровой зимой весна, так и за сумрачным прошлым наступит ясная, счастливая жизнь...

Через всю эту красоту, через зелень и легкую зыбь растущих хлебов, через луговое цветение, мимо пашен и пахарей провез сивка своих седоков и добрался до речки, которую за мелководье, видно, назвали Саран — скупая. Переправились мигом, вода едва доходила до осей колес. Но дальше шло взгорье, и поднимались на него шагом. С горы вел крутой спуск. Петров не успел натянуть вожжи, и старая лошадь, поддавшись толчку телеги, задурила, понесла, взбрыкивая, вниз. А там дорогу с обеих сторон обступил лес.

Лес был небольшой. И деревья в нем были не очень рослые. Но природа и здесь торжествовала весну. Густо разросшиеся травы, цветы, вытянувшиеся к небу тонкие сосны, плотно окутанные резными листьями дубы, красавицы березки, медоносные, ласковые липы, черемухи, ветви которых скоро покроются белой кипенью цветов,— все дышало весной, все было охвачено пьянящей радостью обновления.

Вот лес уже кончился, а путников все еще провожал терпкий запах цветов, липы, хвои... Впереди — за нива-

ми, за неровной грядой холмов, показалась широкая, разлившаяся, словно море, река.

То была родная, великая река — Волга.

На том месте, где дорога выбегала из леса, Волга делала крутой излом. Она долго текла мимо обрывистого, поросшего соснами берега и внезапно сворачивала в луга, в тальники.

Вот на широкой глади реки появился длинный плот. Он плыл сверху вниз. На плоту виднелись маленькие деревянные домишки, и люди на нем казались отсюда крохотными. К плоту и с правого и с левого бортов подкатывали волны. Они пытались взобраться на бревна, доплеснуться до самых домишек. Но, так и не дотянувшись, падали обратно в реку.

Наконец плот добрался до излучины, но не успел переплыть ее, как снизу показался поднимавшийся навстречу нарядный, белый двухпалубный пароход. И в тот же миг Волга, прибрежные леса, луга огласились низким, протяжным гудком. На плоту началось суетливое движение, несколько человек бросились к вытянувшемуся сзади кормилу и изо всех сил стали повертывать его влево.

Пароход, приблизясь, еще раз загудел и, потеснив плот к берегу, с шумом поплыл по вспененным волнам вверх по реке. Мощный, тягучий гуд опять прокатился по всей Волге, по всей окрестности. Он стлался, дрожа, по широкой водной глади, бился о крутояр, залетел в плавни, ударился о черневший на том берегу еловый лес и, возвратясь снова, гулко пронесся над головами путников, ворвался в оставшийся позади лесок и затих там во влажных ветвях.

А сивка все катил телегу по лесам, по равнинам и взгоркам, и путники даже не заметили, как подъехали к Байраку.

Черный босоногий мальчишка с красным галстуком на шее растворил перед ними околичные ворота. В два ряда вдоль широкой улицы выстроились избы. Соломенные крыши. Возле одной избы, подняв зубчатые крылья, стояла жнейка. Тут же на завалинке сидел белобородый старик в каляпуше [1].

Не дожидаясь понуканий, сивка побежал по знакомой дороге прямо к сельсовету.

[1] Каляпуш — татарская бархатная тюбетейка с прямой тульей.

III

Паларусов хорошо знал Фахри.

Они работали вместе в тяжелые голодные годы. В те страшные дни, когда голод безжалостно косил людей, они рука об руку боролись против голода, против смерти. Фахри был тогда председателем волисполкома, Паларусов — уполномоченным центра. Им часто приходилось встречаться на совещаниях, собраниях. Приходилось иногда схватываться в спорах. Позже Паларусова послали в его родную Чувашскую республику, там и работал он все последние годы. В этих краях, в Байраке, он с тех пор не бывал.

Как и многие чуваши, Паларусов, хоть и несколько затрудненно, с акцентом, но говорил по-татарски. Вот и сейчас, подъехав из сельсовета к дому Фахри, он слез с телеги и поздоровался по-татарски с собравшимися тут стариками. Гайшэ он выразил соболезнование, сказал ей, что был дружен с Фахри и, не затягивая дальше разговора, попросил Шангерея рассказать, когда, где и как обнаружили труп. Потом снова обратился к Гайшэ:

— Вам тяжело, конечно, джинги [1], но все-таки придется пойти с нами!

И уже по-русски позвал с собою Шангерея и Петрова. Нужны были еще двое понятых.

— Ежели сгожусь, могу я пойти! — вызвался косоглазый дед Гимади.

— Вторым пусть дед Джиханша идет, он человек честный! — закричали со всех сторон.

Паларусов не стал возражать. Вместе с понятыми, Гайшэ и Шангереем они пошли к оврагу Яманкул, где был найден труп Фахри.

У Яманкула, на крутом берегу Волги, стоял одинокий, многовековой дуб. Корни его ушли глубоко в землю, шатром раскинулись могучие ветви, а листва была так густа, что даже в самую жаркую пору лета в его тени царила прохлада.

Паларусов и Петров оставили под дубом вещи и вместе со своими спутниками, скользя и падая, спустились в овраг.

---

[1] Джинги — жена старшего брата или родственника, иногда так обращаются и к старшей по возрасту женщине.

Паларусов начал с выговора Шангерею: тот никак не должен был до прибытия следователей трогать труп, переносить его в деревню. Потом он достал бумагу и, набросав чертеж, обстоятельно описал место обнаружения преступления. На правом скате оврага в желтоватом песке четко обозначился глубокий след ноги. Видно было, что кто-то наступил здесь в слякоть во время дождя. Паларусов измерил след, а когда выбрались наверх, тщательно осмотрел узкую тропку, пролегшую от старого дуба к Байраку и совхозу «Хзмэт», начертил ее со всеми разветвлениями на бумаге. Затем прочел протокол вслух и попросил всех подписать его. Это-то как раз и оказалось для свидетелей самым сложным. Немало попотели бедняги, сидя под развесистым дубом, пока выводили свои имена.

В детстве Гайшэ несколько лет бегала на уроки к жене муллы, но дальше чтения по складам молитвенной книжки дело у нее не пошло. Со временем и это забылось, точно снегом замело. Лишь после революции, урывая между тысячами хлопот и забот крохи времени, она позанималась недель пять в кружке ликбеза. Там научилась читать по-печатному, с письмом же, как ни старалась, ничего не выходило. Загрубелые в многолетней тяжелой работе пальцы плохо справлялись с пером. Только и приучилась Гайшэ выводить свое имя да фамилию. Но это тоже было великой радостью для нее.

Взяв протянутую ей Паларусовым ручку, она старательно, на всю ширину страницы, расписалась: «Гайшэ Гильманова».

От нее ручка перешла к деду Джиханше. Когда-то, еще мальчонкой, был он крепостным крестьянином Хайдара-мирзы [1] Акчулпанова. Отменили крепостное право, но все равно не удалось Джиханше перешагнуть порог школы. Так всю жизнь и ставил он вместо подписи свою тамгу — вырисовывал вилы. Сейчас за него расписался Петров.

Шангерей в детстве ходил в деревенский мектеб [2]. Много розог принял он и от хальфэ и от хазрета [3]. Убе-

---

[1] Мирза — дворянин.
[2] Мектеб — в старой татарской деревне — приходская, духовная начальная школа.
[3] Хазрет — почтительное именование муллы.

гал раза два, но его возвращали и били пуще прежнего. Так с розгами да колотушками научился он понемногу различать, как говорится, белое и черное. Но вот запрягла Шангерея жизнь в оглобли, и словно выдуло у него все из головы, чуть не начисто позабыл он грамоту. Только с приходом Советов и удалось ему восстановить в памяти, что знал. Заглядывая в тетрадки сынишки Сабита, Шангерей научился читать и писать. Это стало и гордостью его, и большим подспорьем в сельсоветской работе. Когда очередь дошла до него, он взял ручку и поставил свою подпись с ловким росчерком.

Последним был дед Гимади. Этого старика в деревне все считали грамотеем. В молодости он был казнем — надзирателем в большом известном медресе. Оттуда перешел в дом самого хазрета — наставника медресе. После смерти хазрета пожалел Гимади Габдулла-ишан. «Преданный, надежный человек», — сказал он о Гимади и взял его себе в подручные.

В девятнадцатом году, когда черные волны колчаковщины захлестнули значительную территорию нынешней Татарской республики и уже подступали к Казани, Габдулла-ишан стал во имя веры подстрекать народ против Советов, за что по приказу кочегара Садыка Минлебаева был расстрелян, а дома его были переданы волисполкому. Туго пришлось тогда Гимади, остался он без крова. И сюда кинулся и туда, наконец по протекции домуллы[1] Фариндельгасри устроился в совхоз, в котором директором работал бывший бай Вали Хасанов.

Поскольку Гимади всю свою жизнь провел среди людей ученых да богатых, никто никогда и не сомневался в его грамотности. И поэтому, когда старик заявил, что поставит свою тамгу — серп, не поверили, решили, что он шутит, насмехается над невежеством деда Джиханши. Но оказалось, что Гимади и в самом деле умел только читать, расписался за него Шангерей.

Покончив с окончательно утомившими крестьян подписями, все возвратились обратно в Байрак. Несмотря на жару, возле дома Фахри собралось еще больше народу. Успели прибыть из волости и миллионер с

---

[1] Домулла — мулла, облеченный правами преподавателя.

седобородым высоким доктором, Сергеем Тимофеевичем Красильниковым. Они сидели в тени на завалинке, поджидая Паларусова.

Их приезд переполошил жителей деревни: «Вскрывать будут... Как вскроют, тут же узнают, кто убил, и расстреляют...» Слухи, зародившись на одном конце улицы, с помощью Рагии все больше раздувались и, обрастая по пути еще более страшными подробностями, добрались до другого конца. А там, вползая в двери, выползая из окон и приняв чудовищные формы, уже по другой улице вернулись к той же Рагии.

— Он, точно он! Его перед всем миром будут казнить. Кровь за кровь! — не уставала она нашептывать и тем, кто слушал ее, и тем, кто вовсе не хотел слушать. Ребятишки позабыли об играх, молодухи и девушки недостряпали еду, недомесили тесто, мужики побросали недовитые веревки, оставили телеги и все прочее, что мастерили, и, подхваченные потоком жутких слухов, повалили к избе Фахри.

Паларусов с понятыми пробился через эту перепуганную, снедаемую любопытством толпу и, позвав доктора с милиционером, прошел к клети, где лежал труп Фахри. В нескольких словах он передал доктору историю убийства и обнаружения трупа.

— Вот оружие, которое нашли около него. — Паларусов показал на окровавленный шкворень.

Сергей Тимофеевич с помощью милиционера перевернул труп, быстро осмотрел его и, прикладывая шкворень к проломленному черепу, пояснил:

— Ясно! Вполне ясно! Вот смотрите: первый удар был нанесен неожиданно с правой стороны. Твердая, сильная рука. Сразу пробила голову... Второй раз ударили этим же шкворнем спереди, вот сюда и — послабее, череп только треснул... На теле нет ни ран, ни повреждений. Прикончили двумя ударами. Вскрывать труп нет никакой необходимости... Все ясно и так.

Составив протокол и дав всем подписать его, доктор собрался уезжать.

— Меня больные ждут, — объяснил он и, сев в свой тарантас, погнал лошадку обратно в волость.

Теперь надо было приступать к допросу, начинать следствие. Паларусов дал несколько указаний караульным и вышел из клети.

Глянула Гайшэ и ахнула. Материнское «кое-что» оказалось полным хозяйством. Чего тут только не было!..

Взмокшую лошадку распрягли, привязали в тени и принялись разбирать поклажу. Гайшэ и сердилась и смеялась. Бедная мать привезла все свое богатство. Прежде всего она достала из телеги два совсем еще новых, выкрашенных в голубой цвет ведра. Они были очень и очень кстати. Ведра у Гайшэ давно прохудились, и она мучилась, затыкая их каждый раз тряпками.

Потом появились маленький самовар, четыре пары чашек, две тарелки, шесть кленовых ложек, большая деревянная чашка, решето, железное сито, доска для теста, скалка, ковшик, две чугунные сковороды и еще и еще...

Но самым дорогим подарком для Гайшэ была занавеска. Она сама выткала ее еще в девичьи годы, когда готовила себе приданое. Изба у нее маленькая, делить ее перегородкой не стали, да и досок бы не хватило. А с занавеской хорошо: ее можно повесить посредине и задергивать только в случае, когда заглянет кто посторонний.

Бадрия никак не могла наглядеться на дочерин дом. Осмотрела его со всех сторон, проверила конопатку, и бревна расхвалила и печку. Помолилась усердно аллаху, испрашивая дочери всяческого благоденствия, скорого возвращения мужа и долгой, покойной жизни. Потом сама продела тесьму в занавеску, сама ее повесила, разделив избу на две половины. Теперь стряпной угол был отделен от горницы, и в избе вроде стало еще краше.

За годы разлуки с дочерью-ослушницей в сердце Бадрии накопилось, накипело столько обид, упреков, нежной любви и тоски, что все в нем запеклось черной кровью. И нынче, свидевшись с дочерью, мать без умолку изливала ей свои переживания. Выгружала ли привезенные с собой вещи, осматривала ли дом, вешала занавеску — она все говорила, говорила, перемежая слова слезами, радостным смехом, и снова вспоминала обиды и огорчения... Наконец обняла дрожащими руками любимую свою дочь, сказала:

— Ладно, доченька... Облегчилось мое сердце, успокоилось. Напои меня теперь чаем.

А чем Гайшэ могла угостить мать? Не было в доме ничего, кроме черствого ржаного хлеба да снятого

молока. Засуетилась бедняжка, собралась бежать во двор. «Может, куры снеслись,— думала она,— хоть яишенку пожарю».

Но напрасно Гайшэ встревожилась: мать словно предчувствовала — все захватила с собой. Развязав кумачовую скатерку, она стала доставать гостинцы. Тут оказались и чай, и сахар, и сдобные лепешки, лаваши, пирожки, пончики и еще всякая снедь.

Вскипятили привезенный только что самовар, расставили чашки, и мать с дочерью сели за стол друг против друга и принялись за чай. Раза три подливали в самовар воды, подбавляли угольков — все чаевничали, все беседовали. И опять ворошили свои обиды, опять плакали и цвели обе счастливой, радостной улыбкой.

В тот же вечер старуха Бадрия собралась ехать обратно.

— Отец твой сильно болеет! — все повторяла она.— Спрашивает о тебе. Забрала бы детишек да приехала погостить в родной дом.

На прощание велела передавать поклоны зятю, когда будет писать ему, и крепко-накрепко наказала:

— Как возвратится, на другой же день приезжайте к нам!

«Артель, коммуна, колхоз»...— только это и было всегда на уме у Фахри. Потому и не нашлось у него времени позаботиться о собственном гнезде. И когда после разгрома Колчака, по дороге на Северный фронт, Фахри заехал к жене, то глазам своим не поверил. Только побыл он в новом доме недолго, всего одну ночь, а наутро, встав вместе с солнцем, отправился догонять полк. Лишь после окончания боев на всех фронтах вернулся Фахри и зажил в собственном доме.

В этот самый дом и вошел теперь Паларусов вслед за вдовой убитого Фахри. Его опытный следовательский глаз сразу подметил и аккуратно подвернутую занавеску, и расставленную на саке [1] возле печи посуду.

«Справно жил»,— подумал он, вешая кожаный картуз на вбитый возле двери деревянный костыль. Портфель он бросил на некрашеный деревянный стол. Стол

[1] Саке — широкая и низкая деревянная тахта.

был еще новый, но беспокойные мальчишечьи руки уже успели оставить на нем свои следы. Прямо на середине стола было вырезано ножом: «Пионер Самат», а ниже невероятными каракулями нацарапано: «Октябренок Азат». Паларусов сразу заметил эти царапины, но понять не понял: он не умел читать по-татарски. На полке, прибитой к стене, разглядел татарскую «Крестьянскую газету», русский журнал «Деревенский коммунист» и еще немало книг и брошюр по сельскому хозяйству: об артелях, о коммуне, колхозах, о тракторах...

Паларусов сел, выложил на стол бумаги, бланки, маленький блокнот. Придвинув Гайшэ табуретку, начал расспрашивать ее.

Существует уже установившийся шаблон ведения допроса. Паларусов же часто ломал этот шаблон — вел допрос так, как считал нужным, в зависимости от обстановки.

Вот и сейчас, не дождаясь даже, пока Гайшэ усядется, он прямо спросил ее:

— Ну, джиги, скажите откровенно: кого подозреваете?

Гайшэ не ждала такого вопроса, ответила не сразу:

— Не знаю!

— А все же?

— Определенно ни на кого не могу указать.

— Что это вы так скупо говорите? Слова-то не купленные! Были ведь у него и друзья и враги?

— Как же не быть!

— Кто?

— Много, очень много! Невесть сколько и тех, кто перегрыз бы ему горло, и тех, кто бросился бы за него в огонь и в воду.

— Отчего же у него оказалось много врагов?

— Как отчего? Не нравилось кое-кому, что землю у них отнял, что подбивает крестьян идти в артель, в коммуну: ножку, мол, нам подставляет.

— Кому подставляет ножку?

— Да кулакам, конечно. Разве они угомонятся? То в кооператив сунут нос, то Совет к рукам прибрать стараются. А Фахри все им на хвост наступал...

Паларусов перешел к обычному допросу: сколько лет было Фахри, чем он занимался, с чего жил, с кем общался. И хотя Гайшэ не была щедра на слова, все же

сумела по расставленным Паларусовым вехам начертить жизненный путь своего мужа.

То была самая обычная биография татарского крестьянина-активиста.

Отец Фахри крестьянствовал в Акташе. Бедовал он немало, но нраву был решительного, потому и погиб рано. Фахри с детства вместе с отцом и матерью нанимался в сенокос и жатву к разным баям. А в семнадцать лет стал батраком у помещика фон Келлера. Четыре года отдал помещику. Потом солдатчина — не прошло полутора лет, как началась германская война. Фронт. При отступлении на Карпатах попал к австриякам. Бежали вчетвером. Двоих поймали. Фахри с одним марийским джигитом, измученный, раненый, добрался до России. Четыре месяца лазарета в Петербурге. Февральская революция. А там — Октябрь. Красные фронты. А после — партийная, советская работа.

Когда Гайшэ добралась в своем рассказе до недавних дней, Паларусов спросил:

— А почему на последних выборах его не провели в волисполком?

— Да уж так!

— А все-таки?

— Татарские коммунисты в волости разбились на группы и схватились между собой. Победили сторонники Шакира Рамазанова, вы небось знаете его... Вот и свалили Фахри...

— Он оставался без работы?

— Да, три месяца...

— Потом?

— Потом его заставили ревизию делать в кооперативе. Выбрали секретарем ячейки.

Следователь опять повернул допрос в другую сторону:

— Как вы жили с мужем?

— Да ничего, жили...

— Не дрались, не ругались?..

— Всяко бывало...

— У татар девушек нередко насильно выдавали замуж. И с вами так же было?

Гайшэ горько усмехнулась. Вопрос показался ей совсем ненужным. «Морочит мне попусту голову»,— поду-

мала оиа. Одиако Паларусов ие любил отступать, он поставил вопрос по-иному. И жеищииа, сама того ие замечая, рассказала ему всю свою историю. И крупиое, и мелкое, и важиое, н иеважиое — все прошло перед следователем.

V

Фахри был бедеи, зато боек и заметеи ладиым своим станом и пригожестью. А Гайшэ уже в шестиадцать лет прослыла переборчивой: иад одиим посмеется, от другого отвериется, третьего вовсе обидит. Но вот к Фахри сразу потяиулась всем сердцем.

Выросла Гайшэ стройиой, будто тростииочка, сиоровистой. И уж такая оиа была, что даже самым красивым девушкам ие уступала. Правда, огорчали ее иногда веснушки иа лице, и ей вдруг казалось, что из-за этих весиушек ии одии джигит иа иее ие взгляиет, да тут же забывала про свои огорчеиия. А связав себя в мечтах с Фахри, оиа только и думала, как бы склоиить его к себе.

Уж так повелось, что Гайшэ всегда оказывалась первой затейиицей иа девичьих посиделках. И любимой ее игрой был розыгрыш — кто кому? Всегда увереииая в себе, Гайшэ вдруг терялась, лишь только иачииалась эта игра, будто клали иа чашу весов ее судьбу. Робея и дрожа, ждала оиа, что иазовут имя Фахри рядом с ее. Если же иадежда обмаиывала ее, и Фахри «иарекали» другой девушке, Гайшэ ие спала всю иочь. Но уж если улыбалось счастье, и в игре Фахри «доставался» Гайшэ, оиа, точио ребеиок, прыгала, кружилась от радости и еще пуще загоралась иадеждой. «Видио, сужеиый ои мой, судьбой мие предиазиачеииый», — говорила оиа себе.

Так в волиеииях и сердечиых тревогах прошло целых два года.

А джигит и сам вздыхал по девушке. Только ие было у иего иикакой иадежды.

«Нет, ие пойдет оиа за бедиого»,— думал ои. И даже обииияком дал поиять это самой Гайшэ. Одиажды, когда гуляли джигиты с гармоиью по деревие, Фахри спел под окиом девушки:

Не томи свое запястье,
Ты сними с руки браслет.
Обещаешь мне ты счастье,
Не дразни меня, мой свет.

Гайшэ смекнула, что песня эта — упрек ей, и побежала к соседке-молодухе, которой всегда поверяла свои тайны. Велела передать джигиту:

— Лежит у меня сердце к нему...А он вернется ненадолго и снова исчезает, покажется, и опять нет его. С ним и не встретишься. Нынче, как стемнеет, пусть приходит к нам на задворки. Буду ждать его у стога.

Не знал джигит, верить или нет. А ему как раз надо было в тот вечер возвращаться на работу, к помещику.

— Нет, не станет она шутить со мной,— решил он и остался в Акташе еще на день.

До самого вечера боролись в его душе радость и сомнение. Очень долго не заходило солнце. Очень медленно опускалась на деревню темнота. Но вот взошла луна и скрылась за облаками. На всякий случай джигит сунул шкворень за подхваченный оборами толстый чулок, взял в руки крепкую дубинку и, оглядываясь, не подстерегает ли его опасность, пошел задами к дому Гайшэ. Осторожно перелез он через прясло и шагнул к высившемуся за хлевами стогу. И тут, словно бы земля покачнулась под ним, он увидел стоявших рядом стройную девушку и ее соседку, низкорослую молодуху. Так, темной ночью впервые встретились наедине Фахри и Гайшэ. Только не успели они нацеловаться вволю, не успели понять: то ли всю ночь длились их объятия и клятвы, то ли одно мгновение,— подошло время расставаться.

На этот раз Фахри ушел из деревни окрыленный новым чувством, новыми надеждами.

С той поры и начались их встречи и тайные свидания. Но с той же поры поползли по деревне слухи, сплетни. Посыпались на Гайшэ попреки родителей, побои братьев.

— Весь наш род опозорила! — кричали на нее родные. — С голяком спуталась! Ты что же, ровню себе не найдешь?!

Не смогли пронять словами, пытались образумить палкой.

Но разве уговоры да побои могут усмирить строптивое сердце девушки? Гайшэ не образумилась. Не отступила перед сплетнями.

По настоянию самой Гайшэ дважды присылал Фахри сватов к ее отцу Таджетдину. Первым был дед Джиханша. Ему ответили уклончиво:

— Тяжелый нынче год у нас. Не до свадеб.

Но джигит с девушкой не сдавались. Другого послали свата. Этот был поязыкастей и, получив отказ, попробовал взять на испуг.

— Напрасно ты противишься! — сказал он Таджетдину. — Дети в нынешнее время не больно-то надежные. Порешат между собой — и все. Тогда и захочешь свадьбу сыграть, да поздно будет.

И без того норовистый, Таджетдин вовсе вскипел, услыхав такие слова.

— Передай,— сказал он,— передай своему нищему псу, что не ощенилась еще моя сука, чтоб из ее помета сучку ему подобрать! Слышал?! — И выгнал свата вон.

Ответ отца не сломил Гайшэ. Наоборот, у нее точно крылья выросли. В тот же день известила она Фахри и ночью, накинув на себя бешмет и взяв только любимые свои серебряные чулпы[1] и браслеты, бежала с ним.

Так началась история этой семьи. Конечно, Гайшэ не обо всем рассказала Паларусову. Умолчала она о том, что после ухода мужа на германский фронт одна ворочала по хозяйству. Что, подобно многим солдаткам, сама пахала землю, сеяла хлеб, наперегонки с мужиками косила сено. Не помянула и о том, как сама рубила лес, сама таскала бревна, как приходилось ей возить в город хлеб на продажу...

Но об одном случае, который и посейчас некоторые вспоминают с усмешкой, Гайшэ все же рассказала.

Ее несколько раз выбирали членом сельского Совета. Это, разумеется, была рядовая работа. Но она так горячо принималась за все, так яростно спорила с мужиками, отстаивая интересы дела, что ее выбрали делегаткой

[1] Чулпы — украшение, подвески к косам.

в город на съезд. Там она сидела в президиуме и выступала с речью. Целых пятнадцать минут говорила она о том, что в сельском кооперативе товары не доходят вовремя до крестьян, что в кооператив пролезли кулаки. Речь Гайшэ всем понравилась. Ее напечатали и в татарской и в русской газетах. Мало того, поместили портрет Гайшэ с надписью: «Татарская крестьянка-активистка Гайшэ Гильманова». С портрета смотрела обожженная солнцем и ветрами веснушчатая женщина в черном бешмете, повязанная платком, в лаптях.

На том съезде Гайшэ выбрали делегаткой на съезд Советов в Москву. Для нее это был путь в широкий мир. Теперь она уже крепко стояла на ногах, кругозор ее расширился, богаче стал опыт. Через некоторое время по предложению ячейки Гайшэ решили выбрать председателем сельсовета.

Загорелась было Гайшэ, решилась: «Ну, теперь я покажу, как надо работать!» Но вскоре же, сколько ее ни уговаривали, отказалась. Злые языки тут же распустили слух: «Из-за Фахри отступилась. Он ведь ей так и заявил: «Будешь жить, как я хочу! Либо я, либо Совет! Пойдешь работать в Совет, домой не возвращайся!» Вот Гайшэ и запротивилась».

— А что, в самом деле Фахри запретил? — спросил Паларусов.

Гайшэ покачала головой.

— Тяжелая была я, на четвертом месяце... Как же мне было тогда браться за такую большую работу?

Гайшэ подписала протокол и вышла из избы. Паларусов, высунувшись в окно, крикнул Петрову:

— Зовите Гимадетдина Бикмурзина!

VI

— Что вам известно об убийстве Фахретдина Гильманова? Рассказывайте!

Вопрос следователя ничуть не смутил вошедшего крестьянина.

Старик был роста малого, худощав, с козлиной бородкой и чуть косящими глазами. В подпоясанном веревкой джиляне, в круглой татарской шапке, отороченной потертым мехом, в шерстяных чулках и лаптях — он вошел медленно, без всякой робости, приниженности и,

окинув быстрым взглядом стол и пухлый портфель, лежавший на нем, молча сел на табуретку.

— Что вам известно об убийстве Фахретдина Гильманова? — снова по-русски спросил у него Паларусов. Русский язык, разумеется, был для него привычным. С Гайшэ он разговаривал на родном ее языке, боясь, что иначе та его не поймет, но с мужчинами решил перейти на русскую речь, чтобы облегчить себе ведение допроса. Однако молчание старика заставило Паларусова опять заговорить по-татарски:

— Почему вы не отвечаете?

— А чего тут говорить? Одно мне известно — кочегар!

Категорический ответ старика, казалось, даже не понимавшего вопроса, несколько удивил следователя. Он впился глазами в Гимади:

— Какой кочегар?

— Какой же еще? Тот самый, городской ваш! Истинный бандит: и тогда он расстрелял ни в чем не повинного человека по имени Габдулла. Я утром так и сказал Гайшэ: есть, мол, у меня подозрения насчет кочегара. А меня обругали как собаку... Зятем он им приходится, байраковским. Выгораживают!

Паларусов не сводил с него глаз:

— Почему же вы его подозреваете?

— Три дня минуло и три ночи, как пропал Фахри, а на сердце у меня все скребет да скребет! Ни еда, ни питье на ум нейдут! Небось, думаю, напились оба, к тому же оба шибко карахтерные, вот и ударил его кочегар чем ни попадя. Они же всю жизнь друг на друга зубы точили...

Вспомнил Гимади также случай со шрамом на лбу у кочегара. Потом долго толковал о шкворне, а в довершение всего заявил, что в тот самый день, когда исчез Фахри, видел он под вечер, как шли они с Садыком в сторону Яманкула и ругались.

— Ахми тоже видел их,— добавил он.

Это уже было новостью. Следователь начал задавать наводящие вопросы, и вскоре язык у старика совсем развязался.

— Стало быть, так...— начал он. — Приехал к нам в совхоз хазрет...

— Какой хазрет? Что ему понадобилось в совхозе? — перебил Паларусов.

— Фарид-хазрет. Его еще и домуллой зовут. Близкий он человек Вали-баю, часто приезжает... Позвал меня Вали-бай (байраковские его кожевником Вали кличут) и говорит: вот хазрет приехал, по берегу Волги хочет прогуляться, пойди проводи его. Ладно, отвечаю. Что я могу поделать, коли велят. День был погожий. Домулла взял свой зеленый посох, я прихватил весла, и пошли мы по крутому бережку. Идем мимо старого дуба над Ямапкулом. Хазрет мой и говорит: «Погляди, ровесник Гимадетдин, как милостив аллах. В давние времена владычествовали на этих землях наши предки булгары, потом ханы казанские. А как покорил нас московский падишах, отняли у нас земли и отдали русским баям, господам, монахам да попам русским. Еще недавно, говорит, священную эту землю рыли поганые свиньи гяуров — помещика Алексея и князя Гагарина. А нынче поразмыслишь и удивишься: храбрая, доблестная наша молодежь создала здесь Татарскую республику. Я, говорит, слышал, что сюда, на берег Волги, переселяются бедные мусульмане и строят целые деревни, что таких новых деревень уже много. Показал бы, говорит, ты мне, ровесник Гимадетдин...

Паларусов нетерпеливо посмотрел на часы: если каждый свидетель начнет эдак вести разговор с сотворения мира, то ему сегодня не уехать и уж никак не попасть на открытие парткопференции.

— К чему это, дедушка?— прервал он мерное течение стариковской речи. — Вы мне сказки не рассказывайте, вы говорите лишь то, что вам известно об убийстве Фахри!

Гимади встал:

— Не буду, коли не надо! У меня язык не чешется! Сам же велел рассказывать!

Он сердито замигал и отвернулся к окну.

Паларусов попросил его сесть.

— Говорить я вам не запрещаю. Говорите... Но лишь то, что важно!

Старик все еще упрямился:

— Я к тебе в душу не лазил, откуда мне знать, что тебе важно. Как могу, так и сказываю. Перо ведь в твоих руках: нужное запишешь, а ненужное отбросишь!

— Ну и упрямый же вы старик! — рассмеялся следователь. — Ладно, говорите, как знаете!

Гимади без всякой заминки, спокойно продолжал рассказ с прерванного места:

— ...Ты, говорит, ровесник Гимадетдин, показал бы мне Байрак. Я бы своими глазами посмотрел на переселенческую мусульманскую деревню, пал бы ниц на ее землю, вознес аллаху молитву, испросил бы ей благоденствия. Ладно, думаю, так и быть — ублажу тебя, поведу. Повел его в деревню. Увидел мой домулла Байрак и ахнул: и в самом, говорит, деле, мусульманская деревня. Как, говорит, отрадно видеть мусульманских детей в каляпушах, женщин в платках. Верно, поддакнул и я ему. Помещик-то Алексей смылся в чужое королевство, к агельчанам. Вот, говорю, и пользуется наша мусульманская беднота его землями да машинами. А хазрет все твердит: удивительно, удивительно! Вот, смотри, говорю, у них — около трехсот десятин посевов. Хоть и небольшую, говорю, а дали им и леса делянку. Все от Советов.

Так в разговорах прошли мы по деревне и вышли через околичные ворота на дорогу, что к Волге ведет. А хазрет все избы считает. В одном, говорит, порядке восемнадцать, в другом — семнадцать домов. Верно, отвечаю, и объясняю ему: есть, мол, у них очень толковый человек по имени Фахри. Он и добился, что сорок семей из старого Акташа сюда переселились... Очень, говорю, стараются. Ночь ли, день ли, зима или лето — беспрестанно трудятся. На первых порах, как переселились, были у них, почитай, одни землянки да мазанки. А теперь, говорю, деревянные избы ставить начали. И Совет им помогает. Еще, говорю, завелся у них в городе этот... «шиф» называется. И за школой он у них присмотрит, и красный уголок откроет, книги, газеты пришлет, зимой взрослых грамоте учит. Весной, говорю, научили их сообща землю трактором пахать. Они,— толкую хазрету,— тягу имеют к камунии... Завсегда стараются артелью работать.

Так потихоньку добрались мы до Волги. Спустились вниз, лодку отцепили и переправились на другой берег. Весенние потоки омыли песок, и он блестел на солнце, будто золото. Хазрет совершил омовение, стал молиться,

а я, вроде бы спасаясь от мошкары, забрался в тальник и прилег с трубкой в тени... Прежде я не курил. Но, как расстрелял этот кочегар нашего Габдуллу-ишана, пристрастился я к табаку... А время идет, смеркаться уже начало. Хазрет перестал шептать молитву, окликнул меня:

— Пожалуй, пора возвращаться, ровесник Гимадетдин. Очень хорошо отдохнули.

— Ладно, — говорю, — возвращаться так возвращаться.

Сели мы в лодку и — обратно на этот берег... Замкнул я лодку, взял в руки весла, вдруг слышу голоса. Поднял голову и вижу: меж ветел по узкой тропке идут два человека прямо к дубу над Яманкулом. Точно признал: один был кочегар Садык, другой — покойный Фахри. Пьяны были или трезвы — доподлинно сказать не могу, только ругались они на чем свет стоит. Как раз в это время Ахми подошел, Вали-бай его прислал за нами: чего, мол, замешкались, пускай идут скорее. Ахми тоже видел, как они шли, кочегар с покойным Фахри. Идут, бранятся...

Старик разжег свою трубку и снова заговорил:

— Вот отчего три ночи и три дня грызет меня сомнение. Как услышал горькую весть, так и засомневался. Вспомнил про шрам, а когда возле покойника шкворень нашли, который Садык у Джиханши брал, и вовсе потерял покой...

На этом закончился долгий рассказ старика. Паларусов прочитал протокол, дал Гимади поставить тамгу и опять высунулся в окно:

— Товарищ Петров! Товарищ Тимеркаев! Быстренько найдите рабочего совхоза Ахмета Уразова и Садыка Минлебаева!

Из толпы, окружавшей избу, выступила одетая по-городскому молодая женщина. Лицо ее было бледно. Она приблизилась к окну и дрогнувшим голосом сказала по-русски:

— Товарищ Паларусов, он в кузнице. Мой брат Шаяхмет давно уж побежал за ним: скоро будут.

За Ахми тоже кого-то послали. До их прихода следователь занялся дедом Джиханшой.

VII

— Чей это шкворень?

Таким вопросом встретил Паларусов деда, вытаскивая из-под портфеля завернутый в бумагу окровавленный шкворень.

Дед Джиханша был высок и широкоплеч. Седые его волосы были сбриты наголо, белая, лопатой, борода спадала на грудь. Несмотря на свои семьдесят с лишним лет, дед был еще довольно крепок. К допросу, как к делу важному, он переоделся. На ногах у него вместо лаптей были ичиги с кявушами, поверх белоснежной рубахи надет черный камзол, на голове — новый каляпуш.

Старика рассердило, что Гимади долго пробыл у следователя. Он даже собирался высказать Паларусову свое недовольство: «Гимади, мол, вечно болтает всякие небылицы! А ты сидишь и записываешь его россказни». Но не успел. Едва он вошел, как тут же раздалось:«Чей это шкворень?»— Это сразу сбило деда, и ему пришлось собраться с мыслями и снова рассказывать историю со шкворнем. Как Садык взял его в субботу и не вернул и как нашли его на дне Яманкула.

Потом следователь спросил, что он знает о шраме на лбу Садыка.

— Знаю, все знаю!— ответил старик. — Я на свадьбе Садыка посаженым отцом был. Его жена Нагимэ выросла у нас, в старом Акташе. Там ее и замуж выдали за Садыка, а я был ей посаженым отцом.

Паларусов долго расспрашивал про этот случай со шрамом и незаметно подвел разговор к тому, что его больше всего интересовало.

— Каковы были отношения между Фахретдином Гильмановым и Садыком Минлебаевым? — будто вскользь спросил он.— Отчего они враждовали между собой, устраивали драки?

Этот как бы случайно заданный вопрос задел деда Джиханшу за самое сердце. Он вскочил с табуретки и, стукнув палкой об пол, воскликнул с негодованием:

— Так и знал!.. Так и знал, что Гимади беспременно взбаламутит все!.. А ты еще бумагу мараешь его выдумками!— Деда Джиханшу трясло от ярости. Пораженный

такой вспышкой гнева, Паларусов пытался успокоить старика:

— Так уж положено, дедушка! Нельзя иначе. Для того я и послан сюда. Записал его показания, запишу и твои.

Но старик не унимался.

— Я — другое дело! Мои слова пиши! А его — нет! Он наговорит чего и вовсе не было!

— А ты все-таки скажи, каковы были отношения между Фахретдином Гильмановым и Садыком Минлебаевым?— настойчиво переспросил Паларусов.— Отчего они постоянно враждовали?

Дед устремил на следователя полный изумления взгляд. Казалось, глаза его так и говорили: «Откуда это взбрело тебе в голову?»

— Не было этого! — решительно заявил он. — Ты вот слушай и бери все на заметку! Тогда сам увидишь, какие были у них отношения.— И уже спокойно, убежденный, что докажет истину, повел обстоятельный рассказ: — Царя свергли, а землю нам так и не дали, и сыновья наши с войны не вернулись...

Наконец старик добрался до того момента, как Фахри с Садыком приехали домой.

— Народ собирается каждый день — шумит. Собирается и шумит. Тут заявился Садык, начал втолковывать, разъяснять все людям, отобрал у помещика земли, лес. Садык во всей нашей округе был первым указчиком. А Фахри — первым в волости большевистским комиссаром. Вот ты говоришь — враждовали. Как же в таком разе считать: друзья они были или враги? Ты человек башковитый, сам рассуди!

Следователь записывал, а дед продолжал говорить:

— Ты вот небось бывал на фронте, — может, и тебе приходилось слышать. Мой старший сын Ахметша, который на Перекопе погиб, когда Крым выручали, так и написал мужикам: «Отряд нашего Фахри вошел в большую известность. Даже товарищ Фрунзе сказал в своем приказе, что Акташский отряд — самый лучший из отрядов татарских крестьян». Это он про отряд Фахри сказал... Вот оно как! — Старик начинал горячиться. — Наша прежняя деревня Акташем называется. Как дошло до нас, что чехи объявились, что перерезали они в Самаре большевиков, так все и поднялись. Из одной нашей де-

ревни пошли двести человек. Среди них было двадцать баб и семеро стариков бородатых, вроде меня. Садык сколотил отряд, а Фахри командиром у нас стал. Вот и подумай — друзья они были или враги? Пораскинь умом!.. А что делал тогда твой Гимади? Я ведь ему говорил, что бы, мол, ни пришлось пережить, переживем со своими Советами, не оставайся у белых, уйдем вместе. А он не схотел. Я,мол, ни к той, ни к другой стороне не присоединяюсь. И остался. Вот он какой, твой Гимади!

Паларусов не выдержал, рассмеялся.

— На меня-то что сердишься, дед Джиханша?

— А то, что на Гимадиеву брехню вон сколько бумаги извел. А что я говорю, ленишься писать, чиркаешь кое-как. На то и сержусь!

— Да нет, дедушка, я записал. Все записал.

— Ну, ладно, коли так. Только яснее пиши: из одного только Акташа, мол, двести батыров пошли. Дальше пиши: товарищ Фрунзе в своем приказе так и объявил: Акташский отряд — самый лучший из татарских отрядов. Пиши, что акташские крестьяне пролили кровь за Советы и за красный Татарстан... И во всех их делах Садык был главным советчиком и наставником, а Фахри сам впрягался и тянул...

Чтобы перевести разговор в другое русло, Паларусов стал задавать деду обычные вопросы о возрасте, о работе...

Дед Джиханша — живая история — не преминул и тут пуститься в воспоминания, углубился в события, кровью и муками вписанные в его память.

Владел ими крупный татарский помещик Хайдар-мирза Акчулпанов. Человек он был набожный, ходил всегда в чапане и чалме, не пропускал ни одного намаза[1], строил для всей округи мечети.

— А измывался над нами, —рассказывал дед,—пуще русского барина. Ежели что ему не по нраву, пропадет там что или на жену свою осердится, за все кнут гулял по мужицким спинам.

Был я вовсе маленький, когда меня, мать и старшую сестру продали кому-то вместе со щенятами, теленком и

[1] **Намаз** — молитвенный обряд, совершаемый несколько раз в день.

двумя десятинами луговой земли. Только покупатель не внес в срок денег, и мирза забрал нас обратно. Из той сотни сорок да из этой — двадцать... — считал старик, загибая пальцы на руках.— Получается шестьдесят. Еще прибавить лет пять-шесть... шестьдесят пять... Выходит, было мне, когда продали нас, всего-то шесть или семь годков. Здесь,— продолжал дед,— нас, мусульман, так и делили: князья, мирзы да крепостные. На втором годе, как нас обратно вернули, вышла нам, рабам, воля. Мужики в первый день от радости будто хмельные ходили, а на следующий день почернели с горя. Волю-то дали, а землю — нет. А куда крестьянину без земли?..

Стали мы бунтовать, да пользы не вышло никакой. Только шкуры с нас спустили. Отец Фахри Тимерша, родным братом он мне приходился, вовсе погиб. А жизнь наша, как была собачьей, так собачьей и осталась.

Паларусов взглянул на часы. Его не оставляла надежда попасть на партконференцию, но ни прервать старика Джиханшу, ни попросить его говорить короче у Паларусова не хватило духу.

А тот все рассказывал:

— Ежели сильно натянуть, аркан тоже рвется. И мы не вытерпели, разорвали обручи, которые нас сковали. Японская война тогда только кончилась, смута в народе начала подниматься... Вот Тимерша и говорит: «Видите, кипит все кругом. Сколько ни приговаривай: яблоко, созрей, в рот попади! — оно само в рот не полезет. Надо своими руками долю добывать. Пора трогаться и нам!» Запали в летний зной солому, она сразу вспыхнет. Так и мы. Похватали топоры, ножи, вилы, дубины, у кого-то ружьишко нашлось, у другого — сабля старая, и пошли... Стали барский лес рубить, землю захватили и начали пахать — дело-то весной было. Да не успели мы и по десятине на душу вспахать, как нагрянула на Акташ казачья сотня! Кого в город под конвоем погнали, кого на месте плетьми секли. Баб насильничали... Сорок ден стояли они в Акташе. Последних овец и кур отняли, хлеба ни крохи не оставили — все подчистую сожрали. Что тут было делать? Кто успел — убежал, кто нет — сдался. Только четверо до конца противились им, да на свою беду. Первым отца Фахри Тимершу схватили, повесили

вниз головой на колодезный ворот. Весь в крови, руки сломаны, как плети висят, а сам дышит еще... А офицер — молоденький такой, красивенький,— рассечет ему саблей живое тело, посыплет солью и кричит: «Говори, кто вас подбил?» Тимерша задыхается, хрипит:

«Кто нас будет подбивать, безземелье подбило!»

Ругает его офицер на чем свет стоит, ударит саблей да опять солью посыпает: «Говори, кто вас подбил?!»

А Тимерша, чуть живой, отвечает из остатних сил: «Кто нас будет подбивать, безземелье подбило!»

Сколько ни мучил его офицер, другого ответа не добился, схватил он тогда штык да вспорол Тимерше живот.

Горькие эти воспоминания еще больше распалили старика. Он весь кипел, рассказывая, как Фахри, тогда мальчишка еще, кинулся к убитому отцу, обхватил его руками и тут же упал без памяти.

— В крови и в муках созрел наш Фахри,— добавил он под конец. — И незачем тебе брать на бумагу всякую брехню. А то, что я говорил, записывай, ничего не забудь! Пиши как следует! Вот, мол, татарские крестьяне из какого огня выбрались, в битвах за Советы кровь свою проливали. Во всех, мол, делах наставлял их из города Садык, а Фахри рядом впрягался и тянул... А теперь ты и сам поймешь: враги были Фахри с Садыком или друзья...

Старик ушел. За ним вызвали Шангерея, потом Нагимэ, ту самую, одетую по-городскому молодую женщину. И опять допрос свелся к пресловутому шраму, окровавленному шкворню, вражде между Садыком и Фахри...

Неизменное возвращение следователя к одним и тем же вопросам сильно встревожило Нагимэ: безусловно, Паларусов что-то затаил в душе, спросит о Садыке и в ожидании ответа прямо впивается в тебя глазами. Тревога ее уже перерастала в страх. Не вытерпела Нагимэ, передала свою грудную дочку Гайшэ и побежала за мужем в кузницу.

VIII

Нагимэ бежала вдоль реки по обрыву. Вдруг впереди из-под откоса показались сначала два удилища, потом вынырнули две головы — одна в шлеме, другая в серой

кепке, а там во весь рост поднялись две мужские фигуры. Одетый в зеленоватый френч был Шаяхмет, а другой, в синей рабочей блузе, с удилищами в руке — высокий, худощавый, но крепко сложенный мужчина — был муж Нагимэ Садык.

Шрам на его лбу, тянувшийся от левого виска до уха, казалось, выделялся сегодня особенно резко, и морщины на лице стали как будто глубже. Большие, натруженные руки словно бы налились тяжестью, а глаза, обычно задумчивые, смотрели сурово.

Нагимэ бросилась к мужу и, схватив его за руку, спросила:

— Что ты так долго?

При виде жены взгляд Садыка немного прояснился, он взял ее под локоть и ответил вопросом же:

— А ты что так напугалась?

— Напугаешься! Там чего только на тебя не наговаривают! Рагия заявила, что тебя непременно арестуют.

Садык от души рассмеялся. И на какой-то миг разгладились и шрам и морщины на его лице.

— Глупая! Кто же меня арестует?

Нагимэ уже спокойнее взглянула на мужа и, словно только что увидела его, воскликнула:

— Фу! Ты что, в трубу лазил? Словно черт из преисподней, весь в саже! На, хоть оботрись немного! — Вынув из-за обшлага платок, она протянула его мужу и стала стряхивать угольную пыль с блузы Садыка.

— Уголь плохой, — проворчал Садык, — одна пыль.

В это время к ним подбежали двое босоногих, черных от загара мальчишек лет восьми — десяти и с криком повисли на Садыке. Увидев удилища, они зашумели еще сильнее.

— Мне! Мне! — И каждый потянулся за удилищем.

Садык выбрал удилище подлиннее и дал его младшему сыну Куручу.

— Мое длиннее! Мое длиннее! — закричал Куруч и вприпрыжку побежал к реке.

Старший, Хасан, взмахнул своим удилищем и, надув губы, отбросил его:

— Уж лучше бы вовсе не приносил, чем такое...

— Как тебе не стыдно, Хасан. Куруч меньше тебя, он и удить-то не умеет... А ты и короткое можешь дальше

него закинуть, — сказал отец и, подняв удилище, взмахнул им.

Глаза у мальчика сразу повеселели. Улыбнувшись сквозь слезы, он подхватил свое удилище и побежал за Куручем.

Тем временем Паларусов продолжал допрос. Сейчас у него сидела жена Шангерея Рагия. Вначале, услышав, что ее вызывают к следователю, она струсила не на шутку.

— Господи, сама на себя беду накликала...За утрешние слова попалась...

На вопросы Паларусова Рагия отвечала путано, сбиваясь, наговорила много, но чувствовалось, что и знает-то она всего-навсего историю со шрамом.

— Видела, своими глазами видела, — захлебываясь, рассказывала Рагия. — Дрались-то по соседству с нами. Голова у Садыка с левой стороны была вовсе рассечена, кровь так и хлестала, так и хлестала. Уж мы и паутину накладывали, и соли ложками насыпали — никак не могли унять. Только тогда и остановилась кровь, как положили на рану паленого войлоку.

Под конец Рагия так увлеклась собственным рассказом, что убежденно заявила:

— Садык! Больше некому! Его рук дело...Всю жизнь безобразничал!

В это время, не дождаясь вызова, в избу вошел Садык и, едва переступив порог, спросил:

— Вы посылали за мной? Зачем?

Рагия вышла. Садык сел напротив Паларусова и закурил папиросу.

По имевшимся уликам, по собранным сейчас материалам виновность кочегара казалась почти неопровержимой. Но в душе следователя все протестовало против такого решения. Он надеялся, что обнаружатся факты, которые отведут от Садыка угрозу обвинения, и, приступая к допросу, ни на миг не терял этой надежды.

Допрос Паларусов начал как обычно: записал имя, фамилию, спросил о профессии и, когда Садык ответил, «Химик!» — удивленно и даже с некоторым недоверием спросил:

— Отчего же вы получили кличку «кочегар»?

— Да так прозвали когда-то.

— А почему все-таки?

— Весной девятьсот двенадцатого года, когда на Лене расстреляли рабочих, на нашем заводе в знак протеста объявили трехдневную забастовку. Одиннадцать человек, в том числе и меня, как зачинщиков, арестовали, а потом выгнали с завода... и я долгое время был безработным... После многих мытарств поступил кочегаром на Алафузовский завод... С той поры и осталась кличка... А сам я химик...

— Где вы работали?

Садык стал припоминать: семилетним мальчишкой начал работать учеником на спичечной фабрике Хамитовых. Потом — в Елабужском уезде на Бондюжском заводе, в Казани — у Ушаковых, у Крестовниковых... А там Баку... Урал, снова Казань... Такая же судьба, какая была у многих русских и татарских рабочих,— беспрестанные гонения, увольнения...

— Где работаете сейчас?

Перечень работ и нагрузок у Садыка оказался довольно большим: фабзавком, заводская администрация, бюро ячейки, райком, горсовет, экономический совет, комиссии, еще комиссии...

Разговор о причине его приезда в Байрак получился недолгим. Садык объяснил, что его жена родом из этих мест и что он решил провести летний отпуск с семьей в деревне у шурина Шаяхмета.

— Тогда что же вы делаете в кузнице?

— Работаю. Верстах в трех или четырех отсюда есть артель «Маяк». Кузнец у них утонул. Напился и утонул в Волге. Пришли ко мне старики, стали упрашивать: «Молот и наковальня есть у нас. И горнило в действии. Уголь тоже есть запасенный. Договорись, мол, с подручным покойного кузнеца и потрудись малость. А то ни лошадь подковать, ни шину натянуть. Недели через две начнется горячка — серпы править, косы, машины налаживать — и опять-таки некому». А мне, сказать по правде, безделье уже надоедать стало. Ну, собрался и пошел в кузницу.

— Откуда вы знаете кузнечное дело?

Оказывается, отец Садыка был искусным кузнецом. И временами, в безработицу, Садык возвращался домой и помогал ему.

Разговор приближался к основной цели допроса.

— В какое время вы ушли из кузницы в субботу?

Точио сказать Садык ие мог, но помиил, что солице уже клоиилось к закату.

— Вы шли одии?

Садык ие поиимал, зачем все это нужио, ио рассказывал терпеливо:

— До старого дуба, что иад Ямаикулом, мы шли вместе с Фахри, а там расстались. Я пошел в Байрак, а Фахри повериул к совхозу «Хзмэт». Ои должеи был провести там расследоваиие. Между рабочими совхоза и кожевиииком Вали возиикла какая-то распря, дело дошло до ячейки...

Неожидаиио, как бы случайио заметив шрам иа лбу Садыка, Паларусов спросил:

— Откуда у вас этот шрам?

Кочегар без утайки, посмеиваясь, рассказал давиюю историю.

Был ои тогда молодым парием. В Акташе в те годы каждое лето устраивали гуляиье. Однажды Садык приурочил свой приезд в деревню как раз к этим диям: играл на гармони, озоровал вместе со всеми. Как-то выпили лишиее, иачалась ссора, потом драка. Ну, Фахри разгорячился с чего-то и полосиул Садыка иожом по лбу. Кровь кое-как уияли, перевязали Садыку раиу, уложили его, а Фахри скрутили руки и иоги, вылили иа иего иесколько ведер колодезиой воды, отрезвили... Тем дело и коичилось...

Паларусов задумался. Ничего иового, что бы измеиило ход дозиаиия, ие устаиавливалось. Ои отодвииул портфель. Под иим лежал окровавлеиный шквореиь.

Не сводя с Садыка глаз, Паларусов спросил:

— Узиаете?

Садык вздрогиул, вскочил с места и потрогал гвоздь и пеиьковую веревку иа коице шквория. И даже ие думая о том, что надо просить разрешения, распахиул окио на улицу и крикиул жене:

— Нагимэ! Я иесколько дией иазад брал у деда Джихаиши шквореиь, где он?

Паларусов продолжал сверлить Садыка глазами и ие отзывал его от окиа. С улицы послышался испугаииый голос Нагимэ:

— Я все перерыла! Не пойму, куда запропастился.

Усадив Садыка иа прежиее место, Паларусов велел рассказать, для чего тот брал у старика шкворень.

Пришлось Садыку вспомнить все тот же злополучный субботиий деиь. Ои торопился в кузницу. А в сапоге, как назло, пробились гвозди. Пришлось взять у деда Джихаиши шкворень. А вериуть забыл. Вот и вся история.

— А этот самый шкворень найдеи в овраге Ямапкул. Окровавленным...

Садык побледиел. Его худощавое, жесткое лицо словно окаменело. Он молча, негодующе уставился на шкворень. Паларусову было знакомо это выражение резкого протеста, возникавшее иа лице обвиняемых. Чтобы еще какое-то время продержать Садыка в таком состоянии, ои решил устроить ему очиую ставку с одним из свидетелей.

— Введите Ахмеда Уразова, если ои пришел!

Отворилась дверь. В избу, приниженно кланяясь, вошел крестьянин в облезлой войлочной шляпе, в ветхом чувашском чекмеие, подпоясанном веревкой, в плохих, стоптанных лаптях, надетых иа грязные, залубеневшие вязаные чулки. Он был высок ростом, ио весь какой-то жидкий, расхлябанный. Лицо у иего было иечистое, вывернутые веки воспалены.

Растерянный, напуганный, он озирался по сторонам бессмысленным, животным взглядом. Паларусов усадил его иа край саке и, задав обычные вопросы об имеии, фамилии, возрасте, спросил, с каких пор ои работает в совхозе. Затем сразу перешел к субботнему вечеру, когда он ходил к Волге за Гимади и домуллой Фаридельгасри и видел двух людей, которые шли по берегу и ссорились.

Ахми вытер грязиым рукавом гноящиеся глаза.

— Да как сказать, видел... Где мне видеть-то... Больные у меня глаза. Трахума, говорят... С самого малолетства...

— Зиачит, ничего ие видели?

— Да как сказать... Все же приметил малость... Вроде тени какие-то прошли за деревьями.

— Кто же это был?

— Один — Фахри-абзы, это точно... А другой как будто иа Садыка-джизни походил... Доподлинно не скажу...

— Не слышали вы, о чем они говорили?

— Ругались... Да ведь туговат я на ухо-то... Пришибли, когда еще мальцом был...

— Ничего не разобрали?

— Нет. Только слыхал, вроде один крикнул: мать, мол, твою... много, мол, я видал таких, как ты...

Не успел Ахми договорить, как Садык, выйдя из оцепенения, вскочил и, подойдя вплотную к Ахми, заглянул ему в лицо.

— Смотрит в глаза и врет! Кто его научил?! — крикнул он полным удивления и возмущения голосом.

Вызвали Гимади. Старик с девятнадцатого года боялся даже имени Садыка. Когда его вторично позвали к следователю, он с ужасом подумал: «Только бы он меня не пристукнул!»

Однако от слов своих Гимади не отказался: хоть и путался немного, но повторил прежние показания.

IX

В молодые годы, если Садыку не удавалось вразумить кого-либо словом, он бывал не прочь наставить уму-разуму и кулаком. И сейчас в нем все кипело, он даже грозно подался вперед. «Надо проучить этого старого упыря! — мелькнуло у него в голове.— Он же меня под Сибирь подводит!» Но сдержался: «Нельзя пачкать руки!..»

А старик краешком глаза поглядывал на Садыка, не находившего себе места от ярости, и дрожал от страха. Однако увидев, что в избу без всякого вызова, без разрешения стали входить мужики, успокоился: «Не набросится же при всех... А ежели привяжется к нему, он, Гимади, так и отрежет: «Хочешь, мол, бандитничать по-прежнему? Силой-то своей не заносись, Советы не таких, как ты, обламывали!»

Впрочем, дело до этого не дошло. Поскольку Паларусов никого из вошедших обратно не выставил, в избу повалил весь народ. Мужики хранили молчание и, видимо чувствуя, куда клонятся события, недоуменно переглядывались.

Дознание было закончено. Паларусов надел картуз, накинул на плечи кожан и, подойдя к столу, стал запихивать в портфель исписанные бумаги, бланки, напряжен-

но думая при этом, как, в какой форме сказать о принятом им решении. В городе, разумеется, тоже будут поражены, возможно, даже дадут ему взбучку, но другого исхода он не видел. Взяв портфель под мышку, Паларусов взглянул на часы и повернулся к Садыку:

— Одевайтесь, Садык Минлебаев, сейчас мы с вами отправимся в город.

— Зачем? У меня еще две недели...

— Так надо. На основании полученных материалов вам придется ехать.

Лицо стоявшей среди крестьян Нагимэ покрылось мертвенной бледностью. На душе у нее уже с утра было очень и очень неспокойно, но она и не предполагала, что дело примет такой оборот.

— Что это значит?! Они же были самыми близкими друзьями! — крикнула она, бросаясь к мужу.

Напряжение, охватившее людей, дошло до предела. Если бы сейчас кто-нибудь кинул: «Нет! Не выйдет, не отдадим кочегара!» — они, не раздумывая, даже с боем отстояли бы его. Но Садык держал себя так, точно не произошло ничего особенного. Правда, и он потерялся вначале. «Что это? Ошибка? — забилось у него в мозгу.— Или исподволь подготовленный врагами ход? Чья рука здесь орудует? Контрреволюционеры? Групповщики? Но ведь он, Садык, не замешан ни в каких групповых распрях?!» Ни на один из этих вопросов он не мог найти ответа и не видел выхода из создавшегося положения. Как быть? Можно бы, конечно, скрутить и Паларусова и милиционера...

Но Садыку и самому стало смешно от этой мысли. Не бандит же он, чтобы оказывать сопротивление представителю Советской власти, за которую проливал кровь.

Может быть, поехать прямо в Контрольную комиссию? Нет. Не стоит. Ведь в городе его все равно сейчас же освободят... Самое верное — беспрекословно подчиниться.

Все это промелькнуло в голове Садыка в тысячную долю секунды. Уже в следующее мгновение он обхватил за плечи бросившуюся к нему жену и, посадив ее на саке, стал успокаивать:

— Не плачь! Меня завтра же освободят!

Нагимэ и сама видела, что иного выхода не остава-

лось. Она побежала к Шаяхмету, у которого они гостили, принесла мужу пальто и, сколько тот ни уговаривал ее, настояла на своем:

— Нет, нет! Без тебя мы здесь ни за что не останемся. Выпустят — завтра же вместе вернемся, а сейчас поедем вслед за тобой!

Подали подводы. Петров отправился в волисполком, а Паларусов с Садыком Минлебаевым и милиционером поехали на пристань к пароходу.

Байраковцы, потрясенные всем случившимся, провожали их в суровом молчании. Дед Джиханша долго, пока те не скрылись с глаз, глядел вслед уехавшим, потом грузно опустился на бревно возле дома покойного Фахри. Голова у него была будто в тумане. Даже не в тумане, а в каком-то едком чаду.

Люди в представлении деда Джиханши делились на друзей и врагов. Те, кто от всего сердца признает Советы,— друзья. А кто нет — враги! Советская власть сажает в острог всякую контру. Это — нормально. Контры вешают, режут большевиков, рабочих, крестьян. Это тоже нормально. Такие вещи старик вполне мог уложить и разместить по полочкам в своей голове. Но что Советы могут накладывать руку на такого человека, как Садык,— этого уж разум деда не воспринимал. «Выходит, они собственное дите стали поедать?— сокрушенно раздумывал дед, снова и снова ища объяснения случившемуся.— А может, это и есть то самое, что называют судебной ошибкой?»

Дед устало повел вокруг глазами и вдруг заметил: далеко, за околицей, что-то двигалось — то ли лошади, то ли рослые люди. Обернувшись, он крикнул в растворенное окно:

— Гайшэ, сношенька! Что там такое? Не разгляжу никак... Не сюда ли движутся?

Опухшая от слез Гайшэ по пояс высунулась из окна и посмотрела из-под руки туда, куда показывал дед Джиханша. Потом окликнула стоявшего у соседних ворот курсанта:

— Шаяхмет! Кто это? Один вроде похож на Шарафи. Такой же долговолосый. А другой кто? Не Василий ли Петрович? Может, по шефским делам приехали.

Шаяхмет всегда гордился своей зоркостью, недаром он считался среди курсантов самым метким стрелком.

— Они, они, Гайшэ-джинги! — крикнул он, с первого взгляда узнав приезжих, и пустился бежать навстречу. Он подбежал к околичным воротам в тот самый момент, когда Петров разъехался с приезжими и погнал хромого сивку в сторону леса. Шаяхмет подсел на телегу, запряженную красивым вороным жеребцом со звездочкой на лбу. В телеге сидели сухощавый Шарафи и Василий Петрович — пожилой человек с коротко подстриженной белой бородой, несколько скрывавшей худобу его лица. Видимо, они объехали немало деревень: загорели на ветру да на жарком солнце, запылились.

Шаяхмет на своем корявом русском языке начал рассказывать им об убийстве Фахри.

Когда горячий, красивый вороной остановился у дома покойного, Шаяхмет, соскакивая с телеги, закончил:

— Этот Паларусов или слепой, или — продажная шкура!

Тем временем сюда снова сбежались и стар и млад — мужики, бабы, детвора. Шангерей откровенно выразил свое возмущение, а дед Джиханша добавил:

— Что же это такое? Советы собственное дите начали поедать, а?!

Люди со всех сторон окружили приезжих, и все наперебой стали обсуждать случившееся. Шаяхмет категорически заявил:

— Я знаю одно: за всем этим делом стоит Вали Хасанов!

Слова Шаяхмета невольно насторожили Шарафи. В девятнадцатом году ему довелось столкнуться с Вали Хасановым на фронте. Позднее очень серьезные материалы передавал о нем в редакцию Фахри. Некоторые из них Шарафи тогда же направил в прокуратуру, а часть — в земотдел, Салахневу. Сейчас ему казалось, что между всем этим и тем, что сказал Шаяхмет, несомненно, имеется какая-то связь. Но здесь, в толпе, и без того возбужденной, он не счел возможным высказать свое отношение и даже пытался сдерживать кипятившегося Шаяхмета.

Василий Петрович много пережил, всякого нагляделся на своем веку, и все же у него никак не укладывалось в голове, что кочегар, которого он так хорошо знал, мог быть причастным к преступлению. Окровавленный шкворень, безобразная ссора на пути к Яманку-

лу — все это никак не вязалось с образом Садыка. Что же теперь делать? Сколько Василий Петрович ни ломал голову, как ни прикидывал, ничего путного придумать не мог и потому решил, что надо поскорее вернуться в город и ознакомиться с делом через прокурора Гайфуллина.

— Нам необходимо сейчас же ехать на пристань,— сказал он Шарафи,— надо поспеть к пароходу.

Шарафи и Василий Петрович часто приезжали в Байрак по шефским делам, и сейчас крестьяне как от друзей ждали от них помощи, заверения, что они все исправят.

«Эти вмиг разберутся, освободят кочегара»,— думали они. Но, не услышав ни одного обнадеживающего слова, разочарованные, стали расходиться.

Вскоре к отъезжающим присоединилась Нагимэ с детьми. За нею с ее узлами спешил Шаяхмет. Он тоже уезжал. Срок его отпуска истек еще вчера, и задержался он в деревне только из-за Фахри.

Нагимэ с ребенком на руках и ее младший сынишка уселись в телеге рядом с Василием Петровичем. Шарафи с Шаяхметом пошли напрямик пешком. Хасан тоже увязался за ними.

Шаяхмет всю дорогу возмущался и ругал Паларусова:

— Паларусов, коли он не глуп, должен был понять: если я вздумал убить кого-нибудь, так неужели возьму для этого шкворень у соседа? Ну, пускай, предположим, что взял, проломил им голову человеку, так разве я брошу возле убитого окровавленный шкворень? Ведь это значит выдать самого себя...

Шаяхмет распалялся все сильнее и уже начал разоблачать Паларусова.

— У нас на курсах,— рассказывал он,— есть чуваш Емельянов. Толковый парень. Он давно говорил, что у них не любят Паларусова, считают его не то сыном кулацким, не то подкулачником. На Паларусова вроде и заявление писали в Москву, в Контрольную комиссию! Как приедем, я тут же разыщу Емельянова и с его помощью все доподлинно разузнаю!

Шарафи никак не мог согласиться с ним. Он лично знал Паларусова. В свое время Паларусов в частях Красной Армии, громя колчаковцев, прошел с боями от

Чебоксар до Иркутска. В годы продразверсток едва не погиб от руки кулаков.

Однако все это нисколько не разубедило Шаяхмета.

— Может, тогда он и был порядочным, да переменился,— решительно заявил курсант.

На пароходе они все время говорили только о Садыке и Фахри. Нагимэ не вмешивалась в разговор. Но, слушая рассуждения Шарафи, Василия Петровича и Шаяхмета, она все больше успокаивалась, и ей уже казалось, что она скоро, сегодня же встретится с мужем...

Так они доехали до города.

X

Неожиданное возвращение Нагимэ с детьми очень удивило старуху, которая оставалась домовничать у них в квартире. А когда Нагимэ, едва переступив порог, кинула ей:

— Бабушка, присмотри за ребятами! — и тут же куда-то убежала, старуха поняла, что случилось нечто серьезное.

Нагимэ не считала нужным ничего объяснять, она не теряла надежды, что возвратится домой вместе с мужем.

Смеркалось. Набухшие дождем свинцовые тучи затянули все небо. Нагимэ бежала, ничего не замечая вокруг, пересекала улицы, только чудом не попала под машину, пролетевшую перед самым ее носом. Но на повороте к центральной площади ее остановила вереница подвод, запряженных здоровенными, лохматыми битюгами. Подводы эти, груженные каким-то железом, чугунными колесами, разными машинами, сплошной цепью двигались с вокзальной улицы в сторону складов земотдела. Нагимэ нетерпеливо посмотрела в хвост железного каравана и, видя, что нет ему конца, бросилась вперед и, пригнув голову, проскочила прямо под мордой лошади, показавшейся ей смирнее других.

На Советской улице возле огромного серого здания кто-то окликнул ее:

— Куда ты так мчишься, Нагимэ? Погоди!

Нагимэ даже не обернулась... Вот городской сад, памятник Ленину... Она пересекла еще одну улицу и, тяжело дыша, остановилась перед высоким, очень старым

желтым зданием, с окнами, забранными решеткой, с белой башней над воротами. То была старая городская тюрьма. До революции Нагимэ много-много раз приходила сюда с передачей для мужа или чтобы свидеться с ним, а то и просто надеясь услышать что-либо утешительное... Казалось, те мрачные дни снова надвигались на нее. Смущенно озираясь, она подошла к деревянным воротам и стукнула несколько раз. Открылся маленький глазок, чей-то густой голос спросил:

— Что еще?

— Мой муж здесь. Насчет него я...

— В субботу приходи. Можно и в среду. От двенадцати до двух часов. В другое время не пускают.— И глазок захлопнулся.

Нагимэ растерялась.

«Мой муж коммунист,— хотелось ей сказать.— Он ответственный работник...»

Но говорить было не с кем. Глазок больше не открывался.

Несколько минут Нагимэ простояла в замешательстве, не зная, что делать. Потом вспомнила о Василии Петровиче и пустилась бежать к нему.

— Он на партконференции, — сообщила ей жена Василия Петровича.— В шесть часов открылась. Как приехал, и чаю не стал пить — прямо туда пошел.

Нагимэ отправилась на почту — позвонить на татарско-башкирские командные курсы. Какой-то толстый делец долго не вылезал из телефонной будки, говорил и говорил... Когда наконец Нагимэ дозвонилась и попросила позвать Шаяхмета, ей спокойно ответили:

— Он в ячейке. Там доклад идет.

— Пожалуйста, вызовите его на минутку, я — его старшая сестра!

— Нельзя,— заявил тот же невозмутимый голос.— Начались прения по докладу.

Все еще не теряя надежды увидеться с кем-нибудь, Нагимэ повернула к бывшим номерам Козлова. Этот дом теперь назывался Первым Домом Советов. Шарафи жил там.

За высокой стеклянной дверью Нагимэ увидела привратницу.

— Вы к кому? — спросила та.

— В тридцать вторую комнату. Он дома?

— Нет.

— Где же он?

— В ячейке.

В доме жили еще несколько знакомых ей коммунистов-татар. Нагимэ спросила о них. Ответ был один и тот же.

— Что же это? Никогда дома не застанешь! — возмутилась Нагимэ.

Привратница рассмеялась:

— А как же?! В шесть открылась конференция. Одни пошли туда, другие — на собрания ячеек... Ведь вторник нынче: партийный день! Не знаете разве?

Нагимэ совсем забыла об этом. Теперь-то вспомнила, но ей от этого легче не стало, дело с освобождением мужа не продвинулось ни на шаг. Оставалось одно: пойти на партконференцию. Она поспешила в Комклуб.

Этот двухэтажный роскошный особняк прежде принадлежал дворянскому собранию. После революции особняк сохранили во всем его великолепии. Величественные колонны, резные балконы сверкали белизной. По вечерам в огромных залах тысячами огней зажигались люстры. Только вместо потомственных дворян здесь собирались теперь рабочие, крестьяне, красноармейцы. Здесь проводились все большие собрания — съезды, конференции. Татары, русские, чуваши — молодые и старые коммунисты, комсомольцы, прошедшие семь фронтов герои войны сходились здесь, чтобы решать важные вопросы, стоявшие перед партией, Советами.

Внизу, в зале, направо от высоких входных дверей, расположилась библиотека. Рядом — антирелигиозный кабинет. В комнатах налево от входа — выставка «История пролетарской революции», кружки молодых писателей, фоторадиолюбителей... Массивные двери то и дело открывались, впуская хлеборобов в лаптях, красноармейцев в шинелях и шлемах, рабочих в синих блузах, кепках, работниц в алых косынках... Тут, в Комклубе, целый день не прекращалось движение, не умолкал шум. Трудовая молодежь, пробужденная к жизни революцией, жадно набрасывалась на книги, газеты — читала, спорила, доказывала...

Конференция уже начала свою работу, но в вестибюле у вешалки еще толпились, шумели люди. Запоздавшие делегаты, гости торопливо раздевались и, предъя-

явив мандаты контролерам, взбегали по широкой лестнице в зал заседаний.

Нагимэ, не раздеваясь, хотела подняться за ними, но ее не пустили.

— Я не на конференцию,— запротестовала Нагимэ.— Мне надо повидать там одного человека. Я сейчас же выйду.

Контролеры, однако, были неумолимы. Вдруг Нагимэ заметила наверху человека с папиросой в руках. Вглядевшись, она узнала в нем Иванова и позвала его вниз. Назвав несколько фамилий, Нагимэ попросила Иванова:

— Пожалуйста, передайте эту записку любому из них.

Вскоре из зала, встряхивая длинной, густой шевелюрой, вышел Шарафи и, закурив папиросу, спустился к Нагимэ. Он, оказывается, сделал у себя в ячейке доклад и отпросился на конференцию.

— Узнали что-нибудь? — с надеждой спросила Нагимэ.

Но Шарафи еще ничего не успел предпринять. Он пытался объяснить, что из-за конференции невозможно ни повидаться ни с кем, ни переговорить.

Нагимэ печально опустила голову:

— Забыли! Приехали и забыли!

Шарафи устал, измотался весь. Но обещал сейчас же принять меры, чтобы освободить Садыка. Бросив окурок в урну, Шарафи сказал Нагимэ:

— Я попытаюсь вытащить кое-кого оттуда. Посидите пока в библиотеке.

Шарафи поднялся наверх и, предъявив мандат дежурному, вошел в зал заседаний.

Если партия — авангард пролетариата, если партия— великая армия, которая сквозь пламя жестоких социальных битв ведет трудовой народ к коммунизму, сидевшие вот здесь в зале делегаты — русские, чуваши, евреи, татары — были одним из отрядов этой великой армии. То были люди, закаленные в боях, в борьбе на хозяйственных и культурных фронтах, коммунары, готовые к штурму новых рубежей, борцы, пришедшие из бедных деревень, красных казарм, заводов, фабрик.

Шарафи внимательно оглядел ряды делегатов. Здесь было много знакомых ему людей. Одних он знал по

работе в заводской ячейке, других — по фронту, с некоторыми встречался в подшефной деревне или на совещании рабселькоров... Но нужного ему человека — прокурора Гайфуллина — не было видно нигде. Он прошел немного вперед. Отсюда можно было разглядеть весь президиум. Там среди таких же, как в зале, представителей заводов, деревень, воинских частей, сидели метранпаж Гайнетдинов, Василий Петрович, Шакир Рамазанов из волости и другие знакомые. Над их головами от колонны к колонне было протянуто кумачовое полотнище, на котором на русском и татарском языках было написано:

ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ X ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

Внимание президиума и всех делегатов в зале было обращено к стоявшему на трибуне широкоплечему человеку с сероватой от проседи бородкой — бывшему политкаторжанину Филимонову. Он делал доклад о работе Центрального Комитета партии. Стараясь не шуметь, Шарафи на цыпочках прошел к первым рядам.

— Чего бродишь? Садись слушай! — шепнул ему с боковых кресел Салахиев.

Шарафи не ответил ему, он увидел в первом ряду Паларусова с Ивановым и уже хотел подойти к ним, но в это время поднялась сидевшая между ними немолодая работница-татарка. Вырвав из блокнота листок, она спокойно подошла к трибуне, положила его перед Филимоновым и вернулась на свое место. Филимонов, не прерывая речи, взглянул краешком глаза на записку, вынул из нагрудного кармана карандаш и, написав на уголке записки: «Переведите!» — передал ее, продолжая говорить, в президиум.

Шарафи почувствовал толчок в спину.

— Тебе Гайфуллина, что ли? Вон он! — шепнул ему Салахиев.

За президиумом у растворенной двери стоял высокий, плотный человек с большим портфелем в руке. Словно боясь, что тот сбежит от него, Шарафи кинулся к Гайфуллину и схватил его за рукав:

— Одну минуту! На одно слово!

Но у Гайфуллина не только минуты — секунды не было свободной. Его избрали председателем мандатной

комиссии и теперь разрывали на части. А тут еще приехали запоздавшие делегации из двух районов, причем оба района прислали делегатов больше, чем следует. Приходилось срочно созывать комиссию. Он, Гайфуллин, даже московского докладчика Филимонова не может послушать. Гайфуллин выложил все это Шарафи и хотел уже уйти, но Шарафи не пустил его.

— Я только на минутку задержу вас, на секунду! — сказал он и потянул Гайфуллина в комнату позади президиума.

— Вы, наверное, знаете, арестован Садык!..

Докладчик в это время перешел к международному пролетарскому движению и конгрессу Коминтерна.

— Даже доклад послушать нет возможности,— проворчал Гайфуллин, идя за Шарафи.

— С делом Минлебаева я отчасти знаком,— начал он.— Паларусов на ходу рассказывал мне. Я ему сразу сказал: «Ты поступил неправильно! Когда к обвиняемому применяют меру пресечения, надо действовать осторожно!»

— А он что?

— Вы же знаете Паларусова. Возражал, конечно. Считает, что для ареста у него были достаточно веские основания.

— Какие?

— Во-первых, по его мнению, преступление, в котором заподозрен Минлебаев, слишком крупное. Во-вторых, говорит, против него имеются улики. В-третьих, Минлебаев якобы очень дружит с байраковцами, даже, кажется, родственник им, и потому Паларусов считает, что, если оставить его на свободе, он может сговориться с ними и уничтожить следы преступления... Когда следователь держится такой позиции, я один ничего сделать не могу. По сто восемьдесят пятой статье Уголовно-процессуального кодекса, в случае возникновения разногласия между следователем и прокурором о применении меры пресечения вопрос этот передается на решение распорядительного заседания суда.

Шарафи даже растерялся:

— Когда же оно состоится?

— Вообще-то его можно быстро созвать... Но ведь все на конференции... Я тоже закрутился в мандатной комиссии!

— Как же быть? Ведь Садык тоже был выбран на конферецию...

— Знаю, он по нашему району проходил... Вам остается одно из двух: или ждать распорядительного заседания суда... или взять Миилебаева под чье-либо поручительство...

В глазах Шарафи блеснула надежда:

— А как это устроить?

— Очень просто. Поручительство за подписью двух авторитетных лиц или какой-нибудь рабочей организации.

Закончив на этом разговор, Гайфуллин ушел. Шарафи написал что-то на клочке бумаги и вернулся в зал. Там в глубокой тишине представитель Центрального Комитета продолжал свой доклад. Сейчас он уже говорил о внутренних делах страны, о вопросах хозяйственного и культурного строительства.

Шарафи стало досадно, что ему никак не удается послушать Филимонова, но внизу его дожидалась Нагимэ, и приходилось доводить начатое дело до конца. Он подошел сзади к столу президиума и протянул из-за спин сидевших товарищей записку Василию Петровичу. Тот обернулся, пальцем поманил к себе Шарафи и шепнул ему:

— Как только закончится доклад, я сам к ней спущусь. Пусть подождет, осталось не больше часа!

Шарафи поспешил вниз, в библиотеку. Он объяснил Нагимэ положение дел, конечно умолчав о серьезности улик против Садыка, сказал, что ситуация осложняется из-за конференции, передал ей просьбу Василия Петровича и побежал скорее в зал заседаний.

Нагимэ не ожидала такого оборота дела. Ей теперь казалось, что товарищи Садыка слишком равнодушны к его судьбе, что никто из них не только не принял решительных мер, но даже не сказал ей ничего определенного.

Василий Петрович тоже ничем ее не утешил, тоже сослался на партконференцию. Прощаясь с Нагимэ, он обещал поговорить с прокурором и с секретарем обкома.

Разбитая, подавленная, побрела Нагимэ к себе домой.

Пришла ночь.

Успокоения она не принесла. Перед глазами Нагимэ

неотступно стояла тюрьма с глухими, за решеткой, окнами...

Всю ночь думала Нагимэ о муже, вспоминала прожитую с ним жизнь и горько плакала.

Так, не сомкнув глаз, и встретила она рассвет.

XI

Нагимэ выросла в Акташе. Выросла, расцвела яркой красотой. И первым джигитом, который задел ее сердце, оказался чужак Садык.

Был погожий летний день. Как всегда, дыша радостью, улыбаясь и распевая, Нагимэ накопала в огороде картошки и принялась мыть ее у колодца. Вдруг за соседским плетнем послышались осторожные шаги. Нагимэ, не оборачиваясь, сразу почувствовала, кто это.

Из города на праздник приехал к соседям джигит, их родич. Нельзя сказать, чтобы он был очень пригож лицом, но зато взял ростом и статностью, был хорош повадками. Заметила Нагимэ, что джигит этот поглядывает на нее, да каким-то особенным, ласковым взглядом.

Вот и сейчас не ошиблась. Соседский гость Садык подкрался к плетню, видно, хотел что-то шепнуть ей, но Нагимэ огляделась по сторонам, сказала:

— Осторожнее, джигит, увидят наши парни, хребет тебе сломают!

Сказала не сердито, скорей даже с опаской за парня, с заботой о нем. Садык и сам понимал, что, коли догадаются, спасибо не скажут... Не стерпят деревенские джигиты, что чужак, горожанин, засматривается на их красавицу, найдут повод — пересчитают ему ребра.

Но это не остановило Садыка. Только теперь по вечерам, когда шел на гулянку, наматывал он цепь на запястье да засовывал за голенище прихваченный в городе кистень. А сам стал еще щеголеватей: начищал до блеска сапоги, шапку надевал чуть набекрень, а ладная черная куртка всегда была на нем как с иголочки. Даже гармонь в его руке словно бы стала певучей, так и брала за сердце.

Заслышит, бывало, Нагимэ Садыкову гармонь и замрет... Если случалось ей в ту пору быть одной в избе, тихо пела в лад гармони протяжную песню, а стоило

Садыку завести плясовую, ноги ее сами по себе начинали отбивать дробь. Когда Нагимэ хоть изредка удавалось обменяться взглядом с джигитом, ее сразу бросало в жар.

«Любит, наверно. Не смотрел бы так, коли не любил»,— говорила она про себя, и от этой мысли ей становилось и радостно и страшно.

Но вот, когда новое то чувство, кажется, всецело захватило ее сердце, джигит внезапно исчез. Возможно, его срочно вызвали в город или вообще ему настало время вернуться, и он не успел проститься с Нагимэ,— как бы то ни было, Садык уехал... Нагимэ ходила словно потерянная, в ее душе роились тысячи сомнений, подозрений: конечно, что ему, приехал на неделю и завлекал ее от скуки... Однако не прошло и месяца, в доме у соседей опять показался джигит-родственник... Нагимэ вновь расцвела. Улетучились все ее сомнения и страхи, сердце наполнилось прежней радостью. Когда-то ей нравилось напевать:

Что же это за девица,
Коль джигита не приманит...

Теперь же эта песня казалась ей бессмысленной. От девического тщеславия в Нагимэ не осталось и следа. Ведь они даже не объяснились ни разу, а сердце ее уже было отдано Садыку. И удивительно, что она смотрела на его приезд как на нечто должное, верила, что Садык приехал ради нее.

В один из таких, наполненных предчувствием счастья дней Нагимэ, улыбаясь яркому предзакатному солнцу, шла с охапкой сена от сеновала к конюшне, как вдруг что-то треснуло в соседском плетне, и не успела она оглянуться — перед ней очутился Садык. От неожиданности Нагимэ выронила сено, а джигит схватил ее за руки и, торопливо сказав: «Я люблю тебя... Скоро пришлю сваху. Не бойся, говори ей прямо, что согласна», притянул к себе, поцеловал почти насильно и, перепрыгнув через плетень, скрылся с глаз.

Нагимэ ужаснулась: только бы не подглядел кто-нибудь. Тело ее было как в огне, щеки, губы горели.

«Наверно, я красная вся. Увидят, сразу догадаются»,— растерянно думала она. Потом аккуратно со-

брала сено, отнесла его, осторожно поглядывая по сторонам, в конюшню, бросила в лоток и пошла к колодцу.

Пип... пип... пип...— слабыми голосками пищали у колодца два больных гусенка — просили пить. Вода в колоде вся высохла. Нагимэ медленно опустила в колодец ведро, долго водя скрипучим журавцом, наполнила его до краев и так же медленно вытянула. Налив в колоду воды, не спеша вымыла руки и, лишь когда совсем успокоилась, вернулась своей обычной, упругой походкой в избу.

Садык и смолоду был человеком твердого слова. Сдержал обещание — на следующий же день прислал свою родственницу, бабушку Махирэ, закинуть словечко.

Мать девушки и отказать не отказала свахе, но и решительного согласия не дала.

— С меньшенькой хочешь меня разлучить,— тихо проговорила она.— Насчет самого джигита ничего не скажу... Только боюсь я в такую даль дочку отдавать... Поразмыслю еще. С родными да близкими тоже надо посоветоваться!

Она вырастила трех дочерей. Горше горького оказалась судьба двух старших. Муж ее, покойный Гата, не в укор его душе будь сказано, был жестоким, упрямым и к тому же корыстолюбивым человеком. Польстившись на богатый калым, даже не поговорив с женой, отдал он старшую дочь во вторые жены одному баю. «Получу сто пятьдесят рублей денег, два батмана[1] меду, еще всякого добра без счету»,— хвастал он.

«Первая жена бая уже стара, помрет скоро. Ваша дочь будет в меду да в масле, в шелку да в атласе, будет единственной бикэ у бая!»— говорили вначале. Но выжила, поднялась старая жена и драконом стала грызть молодую. Мало того, после десяти лет жизни, когда родила их дочь баю троих детей, тот взял в дом третью жену.

— По шариату дозволяется иметь четыре жены. Состояния у меня, слава богу, хватит! — заявил он спокойно.

А жизнь в доме бая, где грызлись, дрались, рвали друг другу волосы три жены-соперницы, превратилась

---

[1] Батман — десять фунтов.

в сущий ад. И старшая дочь старухи, вторая жена бая, каждый раз, как приезжала в гости в родительский дом, плакала, проклинала покойного отца:

— Это он сделал меня несчастной навеки. Он сгубил меня, на него одного падут мои слезы!

Тяжелым камнем легло на сердце старухи это горе, черной запеклось кровью. Но судьба средней дочери оказалась еще страшней. Была она, как и Нагимэ, хороша собой, весела да игрива. Не успела войти в полный цвет, а уж заговорили про нее:

— С Нурием с верхней улицы слюбилась... Завидят друг друга—перемаргиваются да бровями поводят... Как пойдет она с подружками по воду на дальний родник, ждет ее джигит у околицы; подарками обмениваются; будто бы видели у джигита вышитый девушкой платок; будто видел кто-то своими глазами, как умывалась девушка душистым мылом, купленным для нее джигитом на базаре; будто есть между ними посредница-молодка; будто видится девушка с джигитом ночами...

И еще много «будто», много сплетен...

Ославилась девушка, а отец, услыхав такое, и вовсе взъелся:

— Ну что ты будешь делать?.. Хоть в землю провалиться. Ни с отцом, ни с матерью не посчиталась. Выбрала-то ведь кого? Помрешь со стыда! Людям-то как на глаза покажусь теперь! — лютовал он. На мать накинулся:— Матерью называешься, а не смогла за дочерью приглядеть! — Избил ее как последнюю собаку и опять без совета, без разговора просватал дочь за вдовца, которому шел уже пятый десяток.

Старшая дочь была смирная, кроткая. Только и сказала, когда заневолил ее отец:

— Такая, видать, у меня судьба. Не станешь же прекословить отцу-матери.

Кровавыми обливалась слезами, но пошла за бая.

А средняя уродилась иная. Молила мать, волосы на себе рвала, три дня, три ночи плакала. Стерегли ее, глаз с нее не спускали, а сами готовились к свадьбе. И в день, когда было назначено бракосочетание, когда ей должно было пустить к себе жениха, бросилась девушка в глубокий колодец во дворе.

После такой трагической гибели ее позабылись все злобные слухи, сплетни. И появился в деревне ба-

ит[1] о жестоком отце, о горькой девичьей судьбе. И стали его петь везде и повсюду. Пройдут ночью джигиты с гармонью по деревне, дойдут до дома старика Гаты и затянут тот самый баит. Уже не в одном Акташе, во всех окрестных деревнях пели его и назвали баитом о девушке, которая бросилась в колодец. Пели баит девушки, молодки, старухи, пели и заливались слезами.

Ни на миг не давало покоя старухе неутешное ее горе. Оттого и сдержалась она, не отказала тотчас сватам, когда дело коснулось ее меньшенькой Нагимэ. Решила хоть стороной, да выведать, что думает сама дочь.

Младший брат Нагимэ, подросток Шаяхмет, сразу восстал против Садыка.

— Не выдавай за него, мама! — слезно просил он мать. — Что у нас, парней в деревне нет, за городскую собаку ее отдавать? Ведь мне мальчишки проходу не дадут, засмеют: никто, скажут, не взял здесь твою сестру, вот и проводили в город...

Старуха не стала сама заводить разговор с дочерью, поручила Гайшэ, жене Фахри:

— Постарайся, выведай что-нибудь!

Слишком еще молода была Нагимэ, застеснялась. Но после долгого молчания, покусывая кончик платка, которым прикрывала заалевшее лицо, проговорила, запинаясь:

— Не хочу я маме перечить. Как она скажет... Ну, а если насчет дальности... так какая же это дальность в нынешнее время? Письма можно слать по почте, если в гости захочешь съездить или к себе пригласить — опять же пароходы идут. И на лошадях-то всего сутки ехать!.. Но я маме не стану перечить, пусть сама решает!

Гайшэ передала матери разговор, не обронив ни одного слова. Побледнела старуха. Еще резче обозначились морщины на ее лице. Вздохнула горестно.

— Так, говоришь, и объявила: почта, пароход, сутки езды?.. Нет, не ее это слова. Ей бы век не додуматься. Подучили ее заранее... скажи, мол, так и так...

Помня жестокую участь двух старших дочерей, старуха, конечно, и не мыслила выдать меньшую за кого-

[1] **Баит** — народная поэма, песня былинного склада.

ннбудь снлой. И все-таки то, что передала ей Гайшэ, больно ранило сердце. Сколько мук прнняла она ради детей! Эту, последнюю дочку нежнла особенно. Сама носнла бешмет с сорока заплатамн, а дочери, чтоб не ннкла она перед подружкамн, старалась каждый год справлять новые платья, бешметы, покупала новые платкн. Оттого н ожндала мать, что дочь ее скажет другое: «Не брошу я маму, не уеду в такую даль!»

А она, Нагнмэ, вон как заговорнла: «Почта, пароход, на лошадях н то всего суткн путн!»

Нет, нет! Такое ннкогда бы не прншло в голову ее Нагнмэ. Ей втолковалн, а она, юная душа, н поддалась.

Измученное сердце ныло, не переставая.

— Все вы такне,— упрекнула старуха Гайшэ.— Ты первая подала прнмер. Родительского проклятья не побоялась, не подумала, что слезы нх падут на тебя, взяла и сбежала! Все, все вы такне! День маешься, ночь не спншь, растншь детей в муках, нмн только н жнвешь. Онн же — вырастут н не вспомнят про тебя: есть, мол, у нас мать, что она скажет. Встретятся где-то, сговорятся, порешат между собой. А ты, хочешь не хочешь, дай согласне, свадьбу справляй. Все вы нынче такне, Гайшэ-невестушка... А каково это матерн-то? Погодн, будут у тебя свон детн, вспомнншь меня. Была, скажешь, одна глупая старуха, наперед, мол, все угадала, оправдалнсь, мол, ее слова!..

Излнянням старухн не вндfestelocь конца. Гайшэ не вытерпела, вставнла, улучнв момент:

— Так-то оно так, бабушка, да ведь джнгнт больно хорошнй. Надо бы выдать! Трудно нынче с дочерьмн! — И добавнла тут же:— Ягода н та вянет, еслн не сорвать ее вовремя!

Онн говорнлн еще долго. Старуха, конечно, сдалась. А затянувшнйся разговор окончнлся обсужденнем предстоящнх свадебных хлопот н проводов в город.

XII

Жнла в деревне старушка по нменн Гюльджнхан. Старшне называлн ее бабушкой Джнхан, ребятншкн — бабушкой-ягоднннцей. Как свон пять пальцев, знала она все луга, горы и лощнны вокруг деревнн. Наступало ле-

то, и детвора начинала поджидать, когда покажется бабушка-ягодница со своим лукошком. Она-то уж точно знала, в какой год, в какой месяц, когда, где — в лесу, на косогоре или в пойме — искать ягоду. И кто, бывало, пойдет с ней, тот уж возвращается с полным до краев туеском или лукошком...

Очень любила Нагимэ бабушку Джихан. Куда бы та ни побрела, Нагимэ тут же поспевала за ней. Ей казалось, что и земляника, и ежевика, и орехи, и поздняя калина — все, что собирала она вместе с бабушкой Джихан,— вкуснее обычного. Нравилось ей еще слушать рассказы старушки о деревьях, травах, цветах, птицах... Говорили, что бабушка Джихан целых десять лет прожила в городе. Там она будто бы и узнала о многом.

Выбираясь из леса, бабушка Джихан всегда находила красивую поляну, усаживалась на травке и, перебирая ягоды, рассказывала о чем-нибудь. Помнит Нагимэ, как однажды сидели они на полянке, а вокруг цвели яркие душистые цветы, летали крупные белые, голубые бабочки. Любуясь на них, бабушка Джихан сказала тогда:

— Все живет, все цветет на земле. И во всем есть свое зернышко любви. Вон видите, как вьются, кружатся бабочки, они любят цветы, ласкаются к ним...

Юное, не ведавшее ничего сердце Нагимэ восприняло слова бабушки как откровение. Девушку теперь волновало все, что она видела вокруг, она часто задумывалась,— ей чего-то не хватало...

Мать Нагимэ — старуха мягкого сердца — всегда жалела птиц и животных. А уж ласточки и голуби пользовались особым ее покровительством. Они и сами чувствовали доброту старухи. Каждый год под кровлей у них вили гнездо ласточки. Весной прилетали, осенью улетали и снова возвращались. А над клетью под застрехой круглый год ютилась пара голубков. Там они гнездились, выводили птенцов. Хозяйка-старуха неусыпно следила, стерегла их от вечных врагов — кошек, охотниц до птичьего мяса, да озорных мальчишек. Голуби те были темно-сизые, красивые, с огненно-красными лапками. Жили они удивительно дружно. Только выглянет день ясный и тихий, выбирались они на карниз, ворковали, нежно кружили друг около друга... и целовались.

Целовались долго, очень долго и снова кружили, ворковали.

С каким-то странным волнением следила Нагимэ за голубками и спрашивала себя: «Неужели они любят друг друга?»

По соседству с Нагимэ жил один джигит. А напротив, через улицу,— девушка. Чуть ли не с самого детства любил джигит ту девушку. Был он один у отца, и бояться солдатчины ему не приходилось. Мать его ослепла, и в хозяйстве нужны были женские руки. Оттого и не стал отец противиться браку сына, и джигит довольно рано ввел любимую в дом к себе женой.

Нагимэ видела, как дружно, смеясь и шутя, молотили они хлеб на гумне. Видела, как, тесно прижавшись друг к другу, сидели они в телеге, когда ехали в поле или возвращались домой.

Однажды в сенокос Нагимэ с подружками и бабушкой Джихан, собирая ягоды, вышли из лесу прямо на их луга. Стояла сильная жара. В тени под развесистым дубом полдничали молодые. Муж что-то говорил, а жена все пыталась помешать, закрывала ему ладонью рот. Вдруг он притянул к себе жену и стал жадно целовать ее...

Невольные свидетели, боясь спугнуть их, снова скрылись в кустах.

Тогда Нагимэ долго ходила встревоженной: всюду, везде есть любовь. Бабочки тянутся к цветам. Любятся голуби. Вон под дубом целуются молодые — ее соседи... Когда ж возрастет зерно ее любви?..

После первого же поцелуя у плетня Нагимэ поняла, что в ее жизни свершилось какое-то чудо. А после первых ласк Садыка в свадебную ночь она ощутила такой прилив счастья, что тихо, радостно рассмеялась. Так она вступила в новую полосу своей жизни.

XIII

Нашлись, однако, люди, которые позавидовали счастью Нагимэ и Садыка. Ночью после свадьбы кто-то безобразно вымазал дегтем ворота.

Ночь была лунная. Старуха мать спала неспокойно. Томило ее предчувствие чего-то недоброго. Много парней пыталось залучить к себе ее Нагимэ. Боялась мать, как бы не стал кто мстить ей теперь. Не раз просыпа-

лась она и выглядывала на улицу. Все было тихо. Но вдруг яростно залаяла собака. Старуха, вздрогнув, вскочила, сердце у нее сжалось. Босая, с непокрытой головой выбежала на улицу.

Но было уже поздно. Кто-то вот сейчас, вот только что вымазал им ворота густым дегтем. Верен, широкие доски створов были совершенно черные, и деготь на них еще не высох, медленно стекая вниз, капал на землю.

Старуха вбежала в дом, схватила второпях мочалку, вынесла большую чашку с водой. Бедняжка хотела, пока спят люди, смыть деготь, но только пуще размазала его. Не помог и скребок — деготь уже крепко впитался в дерево.

Пока мать бегала, не зная, что ей делать, что предпринять, поднялись и остальные. Весь дом охватило страшное, черное, как тот самый деготь, горе. Больше всех убивалась Нагимэ. Она не знала, куда бежать, где скрыться от позора, билась, плакала, не видя выхода из охватившего ее отчаяния.

Если кто и отнесся спокойно к надругательству, так это молодой муж, Садык. Он улыбался и еще утешал других.

— Глупая, чего ты так переживаешь? — успокаивал он Нагимэ.— Стоит ли плакать из-за каких-то хулиганов?

Нагимэ была безутешна.

— Знаю я, чьих рук это дело,— говорила она мужу, судорожно всхлипывая.— Конечно, это они. Сын Захидабая Шамси посылал мне подарки, и лавочника Хайбуллы сын — тоже. Задобрить меня хотели... Я не приняла... Гайшэ-апа[1] все знает. Ей сын Хайбуллы сам сказал: «Люба мне Нагимэ, пусть не запирает окошко, я приду к ней, с самой свижусь». А Гайшэ-апа даже не дала ему договорить, схватила камень и запустила прямо в голову. Пригнуться, говорит, успел, а то бы расшибла. Он, говорит, как пустится от меня... Если не веришь, у самой Гайшэ-апа спроси... Не виновата я! Ни капли не виновата! Это они со зла меня позорят, что отшила их, что за тебя, городского, вышла!..

Садык мягко так засмеялся:

— Милая ты моя, красавица моя! Ну что ты слезы

[1] Апа — обращение к старшей сестре, к старшей по возрасту женщине или девушке.

попусту льешь?.. Я-то ведь знаю, что ты безвинна. Пусть хоть не одни, а тысячи ворот измажут, плевал я на это... Не деревенский же я мужик.

Он целовал, обнимал ее, нашептал столько ласковых слов, что у Нагимэ начало отходить от сердца.

Конечно, Нагимэ чувствовала себя глубоко оскорбленной, опозоренной. Но больше всего она боялась, что возведенное на нее обвинение навсегда отравит ее только что начавшуюся, озаренную необыкновенным счастьем жизнь, навсегда вселит сомнение в сердце мужа, и ничем уж то сомнение не вытравишь.

То, что на лице Садыка не появилось даже тени недоверия, то, что он утешал ее, как малого ребенка, невольно успокаивало Нагимэ. Ведь Садык казался ей очень сдержанным, немногословным человеком. И откуда, после этого несчастья, взялось у него столько нежных, ласковых слов: «Милая моя, красавица моя, моя женушка»... Будто любовь его к ней стала глубже, горячей. Теперь она уже верила, что не рушилось ее счастье, что лишь темные тучи нашли на него, что они скоро развеются и жизнь их будет точно такой, какой представлялась еще в ранних ее мечтаниях.

Успокоив молодую жену, вышел Садык на улицу поглядеть, что там натворили.

— Хулиганы, мужичье! — выругался он, берясь за ворота.

Он снял с петель створки, повалил столбы... В дровянике нашелся острый топор, отыскались пила и долото. Где-то на печи давно валялся рубанок — достали ему и рубанок. Где было возможно, сострогал, где не брал рубанок — стесал топором. А вокруг него уже собрались ротозеи.

— Ну как, городской? Снимаешь черное пятно с молодухи? — насмехались некоторые.

Вначале Садык отмалчивался. Но когда те начали слишком расходиться, вскочил, замахнулся на зубоскалов чем-то тяжелым:

— Проваливайте отсюда, хулиганы!.. Не досталась она вам, так со зла грязью поливаете!..

Тем временем подошли Фахри и Шангерей, бывшие дружками на свадьбе Садыка. Подоспел и посаженый отец — дед Джиханша. Старик не на шутку раскипятился. Однако, к удивлению всех, Садык оставался невоз-

мутимым. Вместе они быстро справились с делом. Пока ставили ворота, у хозяек вскипел самовар, испеклись оладьи.

За чаем поднялся разговор об отъезде. Садык еще до свадьбы — на сговоре — поставил условие.

— Я,— сказал он,— человек заводской. У меня не то что дни — часы считанные. После свадьбы погостим два дня и уедем в город.

Но теперь, после злополучной истории с воротами, мать Нагимэ и слышать об этом не хотела.

— Ведь опозорили нас. С ворот-то деготь сошел, а с языков наговор не скоро сойдет... Ежели так сразу уедете, наверняка скажут, что осердился зять, не захотел оставаться. И жену, скажут, бросил бы, да она плакала, навязалась. Так и будут говорить... Нет, нет, не пущу... Раньше четырех дней не пущу... Оттого что опоздаешь на четыре дня, горы не перевернутся.

И дружки и посаженый отец поддержали старуху. Садык оказался меж двух огней. С трудом удалось ему выпросить отпуск на заводе.

— Жениться еду. Через неделю же вернусь, в понедельник на работу выйду,— уговаривал он мастера. Не выговоров, не ругани он боялся теперь, а опасался, что возьмут на его место другого человека. Безработных было много. Каждое утро они толпились у заводских ворот в надежде получить хоть какую-нибудь работу. Если он не вернется домой к понедельнику, могут нанять любого из них.

С другой стороны, нельзя было не считаться и с создавшимся здесь положением. Дед Джиханша решительно заявил:

— Человек женится один раз... Взять жену — не лошадь на базаре купить. Тоже и слезы материнские надо принять в расчет. Ведь как-никак, а старухе да ее Бирахмету с Шаяхметом здесь придется жить... Нельзя и о них не подумать...

Четыре дня прошли в хождении молодых по гостям, в веселых прогулках по лугам да взгорьям. Так и вышло, что не только деготь с ворот, но и сплетня с языков сошла.

Садык увез молодую жену с собой в город.

Хоть он и не показывал виду, но всю дорогу его

грызла одна и та же мысль; он почему-то даже не сомневался, а точно был уверен, что его уволили...

И не ошибся.

Те, что добивались работы, пустили слух, будто Садык Минлебаев женился на единственной дочери какой-то старухи и вошел примаком в дом. Он и от квартиры здешней отказался, отписал хозяевам, что вещи свои потом заберет. Будет, мол, крестьянствовать, кузнечным делом займется.

Поверив этим разговорам, в тот, назначенный понедельник на его место взяли другого. Как Садык ни был внутренне подготовлен к этому, все-таки тяжелая весть ошеломила его: ведь он только что сыграл свадьбу; денег у него ни копейки. И с места прогнали. Он пошел на завод, пытался спорить.

— Ну для чего мне оставаться в деревне?— шумел он. — Я в жизни косы в руки не брал, за плугом не ходил!

Он оправдывался, объяснял причину своего опоздания, но уже ничего нельзя было сделать.

У Садыка просто опустились руки. Нагимэ слишком молода, не знает городской жизни. Будет думать, что это она принесла ему несчастье, изведет себя. И он решил не говорить ей ничего, надеясь вскорости подыскать работу.

Было у него две пары сапог. Пару, которая поновее, он продал тайком от жены на базаре. Потом взял взаймы. Его друг типографщик Гайнетдинов даже ходил к Василию Петровичу — старому русскому рабочему — посоветоваться насчет Садыка.

— Был бы он один или была бы у него жена поопытней — тогда бы другое дело!.. А она ведь — цветочек полевой, ничего-то не знает,— жалел он Нагимэ. Гайнетдинову хотелось, чтоб старик похлопотал о месте для Садыка, а он сам пока соберет у товарищей денег ему в долг...

Но вот однажды Садык вернулся домой пьяным. Для Нагимэ это было уже страшной неожиданностью. Она стояла в оцепенении, сжимая руками горло, словно сдерживая готовый вырваться крик. И вдруг в устремленном на нее виноватом взгляде мужа Нагимэ уловила что-то похожее на упрек, на обиду. Это заставило ее превозмочь себя. Стараясь не слышать отвратительный

запах водки, она раздела Садыка, умыла и, уложив в постель, стала ласково целовать его, поглаживая по лбу, по волосам. Садык лежал молча, сосредоточенно думая о чем-то, но вдруг вскочил, охватил руками колени Нагимэ и с какой-то глубокой надсадой проговорил:

— Эх, милая! Не знаешь ты, что творится у меня на душе!..

Нагимэ вся съежилась от страха. Перед ее глазами возникли вымазанные дегтем ворота. Значит, не может забыть, ревность его точит... Но Садык крепко обнял жену и, путаясь, запинаясь, выложил все: он уже несколько месяцев без места, без работы, потому и не может ни порадовать ее ничем, ни удовольствия ей, молодой своей жене, доставить.

В ту минуту Нагимэ впервые почувствовала, как глубоко, как тесно связаны их жизни. Легко спрыгнув с постели и счастливо улыбаясь, она заглянула Садыку в глаза и спросила:

— И оттого только ты и напился? Брось даже думать об этом! С голоду не помрем...

Она подбежала к привезенному из Акташа большому сундуку и, приговаривая: «Видишь? Видишь?» — стала одно за другим выкидывать платья, пестрые пологи, занавески, широкие с кумачовой каймой полотенца, разноцветные платки и шали...

— Видишь сколько! Все продадим! А там и работу найдешь!

Морщины на лбу Садыка разгладились, лицо осветилось доброй, признательной улыбкой.

Это было их первое серьезное объяснение, и оно наложило неизгладимый отпечаток на их отношения, породило нерушимое доверие между ними на всю жизнь.

XIV

До замужества Нагимэ видела окружавший ее мир лишь в розовом свете. Таким же представлялось ей в мечтаниях и будущее. И Садык с его певучей гармонью, озорными шутками, с его пылкостью внесет в ее жизнь, думалось ей, только радость, только веселье...

Однако Нагимэ ожидало изрядное разочарование. Кроме пылкости, веселости, в характере ее мужа оказались еще и твердость, и вспыльчивость, и упрямство.

Правда, он не ругался по пустякам, не бил ее. Но уж если что взбрело ему на ум, не разубедишь, как бы не прав он ни был; Садык мог уступить только под нажимом веских, неопровержимых доводов, и то с недовольством, с ворчаньем. Много горя причиняла Нагимэ и бездумная тароватость Садыка. Бывало, сами едва перебиваются с хлеба на воду, а придет товарищ, попросит: «Денег нет, хоть помирай! Одолжи!» — и Садык тут же высыплет ему последние гроши. Между мужем и женой иногда вспыхивали ссоры из-за этого. Нагимэ охватывали подозрения: «Что бы это значило? Или грех какой за ним водится? Или полюбовницу завел на стороне и для нее дает деньги?»

Измученная, она не выдерживала и обрушивалась со всеми своими подозрениями на мужа.

— Зачем было жениться, коли беспутство у тебя на уме? — причитала она со слезами.

И такая в ней поднималась тоска по деревне! Возвратиться бы к матери, к братьям, повеселиться, отвести душу с подружками, погулять по привольным лугам, широким лесам Акташа, собирать, как и прежде, полные корзины ягод. Как и прежде, выйти с песнями на косьбу, надев белоснежные нарукавники, ворошить в шумном девичьем ряду сено, а потом, намаявшись, усесться в тени и уплетать горячую молодую картошку... Замужество свое Нагимэ начинала тогда считать несчастьем. «Это Гайшэ-апа подбила меня! — убивалась она. — Ведь сама знаю, что и складная я и пригожая! И руки дела не боятся! Нашелся бы по сердцу и свой, деревенский. Только она, Гайшэ-апа, сгубила меня!»

Но вот приходил домой Садык. Целовал жену в заплаканные глаза, в раскрасневшиеся щеки, обнимал, утешал ее. И через пять — десять минут рассеивались все подозрения, от мрачных мыслей не оставалось и следа, и обида на Гайшэ казалась смешной. Когда муж, обхватив сильными руками, прижимал ее к груди, Нагимэ слышала, как бьется у него сердце, чувствовала, верила всей душой, что в этом сердце — лишь она, Нагимэ, лишь она одна! И это чувство, эта вера стали прочной основой ее счастья. И когда она оставалась одна с детьми, когда мужа ее высылали, сажали в тюрьму, выгоняли с работы, когда она терпела голод, нуж-

ду, глубокая эта вера всегда утешала ее, освещала темные ее дни.

На третий год замужества Нагимэ Садык снова остался без работы. Его выгнали с завода как подстрекателя к забастовке. Кинулся он туда-сюда, ничего не получилось. Долгое время работал где придется, кем придется. Началось полуголодное существование. Поехал Садык к отцу, покузнечить вместе с ним, но к зиме и там стало мало работы. Наконец удалось ему устроиться кочегаром на завод Алафузова. Вот в ту пору беспрерывного метания и мытарств Садык пристрастился к водке. Для Нагимэ это стало самой тяжкой, самой горькой бедой...

Должен возвратиться в восемь, а время уже одиннадцать... Где-то он? Конечно, пьет — в долг или продал что-нибудь с себя. А тут сиди одна. Ребенок болеет, с квартиры гонят. Что ж это такое? Что с ними будет?

После долгих ожиданий Нагимэ утирала слезы и отправлялась на поиски мужа. Бегала из трактира в трактир, из пивной в пивную. Заходить внутрь она не решалась, боялась попасться кому на глаза. Еще начнутся пересуды. «Кочегара, скажут, жену видели. Ночью, мол, одна по трактирам шляется...»

Прикрыв лицо старой плотной шалью, она приникала к окну пивной или трактира, а когда кто-либо приходил или уходил, бежала к распахнутой двери, вытянув шею, пыталась разглядеть сидевших за столом людей. Но где там было разглядеть!

Пьяные песни, крики, хриплые звуки граммофона, отчаянная ругань, и все это в густом облаке табачного дыма...

Не одна Нагимэ — другие жены тоже приходили к питейным разыскивать загулявших мужей, тоже боялись входить и подолгу стояли на улице, прижавшись к окнам, и, замерзшие, дрожа, брели обратно домой.

Дни получек для Нагимэ стали теперь самыми горькими.

Поначалу она стеснялась. «Нет,— говорила себе,— не пойду». Но жизнь приучила и к этому. И Нагимэ привыкла ходить каждую субботу к заводским воротам. Здесь она тоже была не одна. В дни получек возле завода всегда толпились женщины. Они разделялись на две группы. В одной — квартирные хозяйки, лавочницы,

шинкарки. Эти подстерегали своих должников. В другой — жены рабочих. Они ожидали мужей, надеясь увести их домой, пока те не пропили деньги. Случалось, какой-нибудь муж начинал скандалить, затевал драку, кричал:

— После собачьих трудов да не пропустить половинки? Как тогда выдержать жизнь-то эдакую?! — И жена решалась на крайнюю меру: шла, уцепившись за мужа, в кабак, сама покупала ему красноголовку и, ворча, вела благоверного домой, да еще не забывала при этом купить немного капустки и огурцов.

— Пускай уж лучше дома пьет! Сколько бы ни выпил, все на глазах будет!

А муж тотчас по приходе домой опрокидывал на голодный желудок одну чашку за другой и, захмелев, начинал хвалить жену заглянувшему на чарочку соседу:

— Вот,— говорил он,— какая у меня жена! Золото, чистое золото! Я нынче посидеть с компанией думал в трактире... А она таки укараулила, потащила домой. Ей-богу, потащила... вцепилась в рукав и тащит... Вот такой и должна быть жена, а ежели нет — плюнуть на нее. Золото моя жена, чистое золото... Ты погляди: и водка есть, и огурец, и деньги... Чье это, думаешь, дело? Женино!

Поболтает так, наестся, напьется и завалится спать.

Нагимэ тоже не раз приводила таким образом домой своего Садыка. Он уже было начал отвыкать от кабаков, но тут нагрянула новая беда: опять уволили его с работы. За что — он и сам не мог понять. Говорили, что якобы было указание из жандармерии. Говорили также, что это мастер освободил место для родственника, приехавшего из деревни.

Как бы то ни было, на место Садыка приняли русского, Селиванова. Такова была действительность. Татарину было сложнее в те времена получать квалификацию. Оттого труднее было и устраиваться на работу. Если даже устроится он, не давали ему расти, держали в чернорабочих, а заметив, что начал обтесываться, тут же выпроваживали.

Садык потерял надежду найти здесь подходящую работу и решил держать путь в город покрупнее.

— Поеду в Баку,— заявил он.— А не выйдет, так

подамся на Урал или в Екатеринбург... Там у меня есть знакомые ребята. Что заработаю, буду присылать,— успокаивал он Нагимэ.— Ты и сама стиркой займешься. Поденщина какая найдется...

Впервые в жизни Нагимэ оставалась одна в большом городе.

XV

После отъезда Садыка в Баку умер у Нагимэ ее первый ребенок. Только она оправилась немного от горя, неожиданно явилась к ней какая-то старуха. Она не стала, подобно другим бабушкам, выказывать благочестие — не помолилась, заговорила странно и непристойно.

— Не шестьдесят тебе лет,— сказала она.— Брось слезы лить. Ты и молода и пригожа. А станом — прямо тростиночка. Тебя одеть маленько да походить, так мужики, тебя увидючи, с ног повалятся...

И бесстыдно захихикала.

Нагимэ даже растерялась сначала, но, когда поняла, к чему та клонит, схватила кочергу и — по спине старуху:

— Убирайся отсюда, старая ведьма!

Сама в тот же миг побежала к Василию Петровичу, рассказала ему обо всем:

— Боюсь я одна оставаться. Позвольте мне до приезда мужа у вас жить. Я буду все делать по дому, а на пропитание сама себе заработаю.

Старик, конечно, был согласен, но послал Нагимэ к жене: что та скажет.

А жена побоялась. «Уж очень молодая да пригожая. Чего мне на спокойную голову заботу принимать?» — подумала она и соврала:

— Вчера только письмо от младшей сестры получила. Едет с двумя детьми к нам. Тесно будет.

Вернулась Нагимэ домой и долго-долго плакала в одиночестве, потом пошла к лавочнику Сираджи и стала диктовать письмо мужу. Все передала ему, ничего не утаила.

«Тут меня в силки хотят поймать»,— сообщила она прежде всего. И на жену Василия Петровича пожаловалась, что испугалась, от ревности не взяла ее к себе.

И в конце категорически заявила: «Пожалуйста, приезжай скорее. Если в этом месяце не приедешь, распродам все вещи и сама поеду к тебе. Ни ребеночка, ни тебя — я с ума сойду здесь одна. А там, что бы ни случилось, будем вместе!»

Нагимэ попросила Сираджи прочесть, что он написал, взяла в руки исписанный лист, повертела, посмотрела на обратную его сторону... Не было в письме чего-то, что больше всего волновало ее душу. Она вернула письмо лавочнику и, смущенно улыбаясь, попросила:

— Сираджи-абзы, добавь еще несколько слов.

— Ну, говори!

— Пиши, как я скажу:

Ой, горит мое сердечко,
День и ночь горит в огне.
Неужели это горе
Навсегда досталось мне?

По-над Волгой тропка вьется,
По-над Волгой лес густой.
Я в разлуке увядаю
Без тебя, любимый мой.

Сираджи написал и прочел снова:

— Так?

— Да, спасибо! — облегченно вздохнула Нагимэ. Она вышла от лавочника и опустила письмо в первый же встретившийся на пути почтовый ящик.

С этого дня, с этого часа Нагимэ стала в полном смятении ожидать ответа от своего Садыка. Каждый просроченный день усиливал ее смятение, воображение рисовало картины одну мрачнее другой.

А вдруг он и сам не вернется и ее не вызовет? Ну, конечно, он там кого-то завел, к кому-то прилепился. Нет, коли так, Нагимэ не станет терпеть ни дня, ни часа, даже ни минуты! Пропади они пропадом, провались и город, и завод, и Садык вместе с ними! Ничего, никого ей не надо! Возьмет и поедет в свой Акташ, вернется к себе на родину. Правда, мать ее уже умерла... Но есть братья Бирахмет и Шаяхмет. Говорят, они растут дельными, добрыми парнями. Конечно, в деревне ее на смех поднимут: «Ну как, скажут, теперь? Здесь себе ровню не нашла, за городским погналась. Потаскалась в городе, и опять Акташ понадобился? Ведь нос, скажут, задира-

ла, говорила, что хороша не та земля, где родился человек, а та, что его кормит. Чего же вернулась-то?»

Ну, ничего, посмеются — и перестанут. Повинную голову меч не сечет. Потихоньку все обойдется...

Вот в таких тяжелых, путаных размышлениях прошло десять дней. На одиннадцатый день разом рассеялись все сомнения, будто жизнь вновь распахнула перед Нагимэ двери счастья: от Садыка, от ее Садыка пришло маленькое письмецо. Садык писал: «Соскучился по тебе очень, очень соскучился. Сам я жив, здоров, работаю. Одно томит душу, что тебя нет со мной. Для меня возвращаться туда нет смысла. Лучше ты приезжай. Собери пожитки, что нужно — захвати с собой, остальное отнеси пока к Василию Петровичу и трогайся в путь. С голоду не помрем. Главное — будем вместе». И денег девять рублей прислал на дорогу. Нагимэ вся сняла, не ходила, а летала на крыльях. В два дня управилась со сборами, отнесла весь остающийся скарб к Василию Петровичу и, прощаясь со всеми, говорила:

— Нынче вечером уезжаю поездом в Баку.

Но внезапно, когда уже собралась на вокзал, пришло еще одно письмо из Баку. Сердце у Нагимэ так и оборвалось. «Не добрая тут весть, не добрая»,— подумала она и снова побежала к лавочнику Сираджи. Весть и в самом деле была не добрая. Писал не Садык, а какой-то его товарищ по фамилии Гарипов. В письме было сказано: «Садыка Минлебаева и еще других в двадцать четыре часа выслали из Баку. Садык просился на Урал, в Екатеринбург,— не разрешили. Сегодня его отправили этапом в Пермскую губернию, в город Шадрин...»

— Это все? Больше ничего нет?

Нагимэ просияла, от тревоги ее не осталось и следа. Ведь она боялась не того, что муж ее оказался где-то на чужбине, она не боялась голода или нужды. Но ее бросало в дрожь при мысли, что Садык может связаться с какой-либо бабой.

Нет, письмо это ничуть не сломило ее.

— Где Пермь, где Шадрин? — начала расспрашивать она и, узнав, что они намного ближе от них, чем Баку, обрадовалась и твердо решила: «Как только Садык обоснуется на новом месте, тут же поеду к нему!»

Сколько еще в их жизни было печальных вестей, но Нагимэ встречала их мужественно, не сдавалась. У нее

был ее Садык, и она сама была в сердце Садыка, и в дни любых испытаний Нагимэ успокаивала себя мыслью: «Садык подскажет, Садык найдет выход...»

В годы ссылок, в годы войны Нагимэ, если не могла в чем разобраться, если не могла сама выбраться из беды, всегда приходила к одному решению: «Напишу ему, посоветуюсь с ним»,— и терпеливо ожидала ответа от Садыка.

Как только свершилась революция, Садыка выбрали от завода в Совет рабочих депутатов; товарищи написали ему письмо, торопили с приездом. Тогда и Василий Петрович будто сразу помолодел на десяток лет. Несмотря на возраст, он трудился, не зная передышки.

А Нагимэ только и жила ожиданием мужа: «Вернулся бы скорей!»

У нее словно плотная пелена спала с глаз. Словно рассеялся туман, окутавший ее мозг.

Она любила Садыка. А постоянные увольнения его с работы, переходы с места на место, забастовки, тюрьмы, ссылки считала несчастьем, напастью, уготованной им судьбой.

Но вздыбились волны революции, все те, кто был в тюрьмах, в ссылках, вернулись и, став во главе дел, повели борьбу за новую жизнь, и женщина в тот час, в то мгновение и сердцем и разумом поняла смысл прошлого. Она увидела прямую связь между бурным кипением пролетарской революции и тюрьмами, ссылками, забастовками тысяч Садыков, для нее теперь те ссылки и забастовки представлялись тысячами ручейков, впадавшими в одно море, корнями, взрастившими одно могучее дерево.

Теперь она всем существом радовалась своей любви. Если раньше любовь к Садыку казалась ей порой каким-то бедствием для нее, теперь эта любовь наполняла ее огромным счастьем.

Возвратился Садык — в солдатской шинели, усталый, разбитый. А Казань встретила его массой дел и забот. С первого же дня Садык с головой окунулся в борьбу, в работу. Он охрип от выступлений на митингах, собраниях. Ему некогда было поесть, он исхудал, осунулся. Однако Нагимэ уже не корила его, а только жалела, старалась залучить хоть ненадолго домой, чтобы накормить, уложить на несколько часов поспать.

Садык заметил эту добрую перемену в жене. Она становилась настоящим товарищем ему. В нем проснулась надежда, что Нагимэ, верный, разумный друг в семье, хорошая мать детей, непременно займет место рядом с ним в борьбе его, в труде. И в те короткие минуты дома за столом, перед сном Садык рассказывал ей и о своих успехах в работе, и об ошибках, делился с ней размышлениями по важным вопросам. Как-то во время одной из таких бесед Нагимэ сказала ему:

— Вот ты говоришь, что я тебе товарищ. Пустые эти слова. Ты — на заводе. Ты — в Совете. А я все около печки. Суп варю да стираю пеленки. Разве это товарищество?

Для Садыка слова Нагимэ явились полной неожиданностью и заставили его задуматься. Позже он сказал жене:

— Отдадим детей — одного в ясли, другого в детский сад... Дома готовить не будешь,— станем ходить в столовую. Устрою тебя на завод, включишься в общественную работу...

Нагимэ даже оторопь взяла. «Ладно,— рассуждала она про себя,— пускай будет невкусно, начнем обедать в столовой. Работать на заводе, в Совете я и сама рвусь. Но дети? Отдать крошек сыновей в ясли, в детский сад? Как они там будут без меня? И я сама... Я же с ума сойду от тревоги за них!

А не расстанешься с детьми, значит, никогда не отделаешься от чугунов, плиты, от пеленок, и никогда не будешь стоять плечом к плечу с Садыком...

Но ведь Гайшэ-апа успевает? У нее тоже есть муж, детишки. И в то же время она вовсю заправляет в сельском Совете. И до волисполкома доходит. Сколько раз ее выбирали делегаткой на съезды, конференции. Она даже выступала на съезде, и ее речь вместе с портретом печатали в газетах — и в русских и в татарских. О ней так и говорят: одна, мол, из активисток красного Татарстана».

Нагимэ размышляла долго. Иногда встрепенется всем сердцем, кажется, уже решится. Но время шло, а перемен в ее жизни не наступало. Нынче же, после ареста Садыка, Нагимэ не переставала упрекать себя. Вот она ходила в тюрьму,— ее не пустили. Пыталась попасть на конференцию,— не дали пройти контролеры.

Сердце ее ни на минуту не находило покоя, а сделать что-нибудь для Садыка она не могла.

«Если б я работала, была активисткой,— рассуждала она про себя,— и голос мой звучал бы по-иному. Я бы знала, кого повидать, на какую кнопку нажать. А так что получается? Идешь к Шарафи — он в ячейке, к Василию Петровичу — тот на конференции, метранпаж Гайнетдинов тоже пропадает в Комклубе, в президиуме конференции сидит. Что мне теперь делать? К кому обратиться?»

Так, не сомкнув глаз, провела Нагимэ эту ночь. Утром поднялась, стала собираться в Комклуб, на конференцию, опять надеясь повидаться с кем-нибудь. В это время постучались в дверь, пришел Шаяхмет. Он очень спешил, затараторил с ходу:

— Я, апа, на минутку забежал. Едем в лагеря на маневры. В прошлом году я занял первое место по стрельбе — на дальность и на меткость. И в этом году хочу удержать за собой первенство... А вчера я, только сойдя с парохода, вспомнил, что надо доклад делать. Побежал скорее. Хорошо еще, тезисы и материал заранее подготовил. Прибегаю весь взмокший, а в ячейке уже народ собрался, меня ждут. Я там перепутал один съезд с конференцией. Взгрели здорово!

Нагимэ терпеливо слушала брата, думая, что Шаяхмет скажет наконец что-нибудь о Садыке, но, так и не услышав ничего, сердито перебила:

— Ты что соловьем распелся? Говори о деле: когда Садыка выпустят?

Шаяхмет, ничуть не смущаясь, ответил:

— Видел я вчера и Шарафи-абзы и Василия Петровича. Я так и заявил старику: у тебя — сорокалетний рабочий стаж, двадцатилетний партийный стаж, и не можешь выручить Минлебаева!

— А он что?

— Усмехнулся. Стажем, говорит, кодекс не перешибешь. Конференция, говорит, только что открылась, все там крутятся. Я, говорит, сам сегодня с прокурором ругался, почему так затянул дело. А тот, оказывается, уверяет, что обеспокоен не меньше его! — И Шаяхмет рассказал сестре о возникших между прокурором и Паларусовым разногласиях в вопросе о мере пресечения, о необходимости дожидаться заседания распорядитель-

ного суда. Причем он скрыл от сестры, что улики против Садыка считаются очень серьезными.

— Редактор Шарафи,— продолжал Шаяхмет,— тоже ничего не может поделать. Я, говорит, не в силах сам этот замок отпереть, а люди, говорит, все на конференции. В этом деле и убийство, и политический, и экономический моменты — все, говорит, перепуталось. Потом я разговаривал со своим товарищем. Он считает, что арест Садыка-джизни, возможно, подстроен групповщиками. Ты знаешь, против «Четырнадцати» выступила группа «Двадцати четырех». Борьба между ними все углубляется, обе стороны обвиняют друг друга в отступлении от линии партии, от ленинской линии. Одни говорят:

«Вы не умеете претворять в жизнь национальную политику партии, вы не разбираетесь в специфике национального вопроса. Вы являетесь орудием русского шовинизма!»

А другие отвечают:

«Вы не понимаете сущности классовой борьбы, вы — агенты буржуазных националистов!»

Разногласия между ними дошли до того, что их вызвали в партийную организацию, распекли как следует, заявили, что обе стороны извращают линию партии. А они и на конференции продолжают свой спор... Поэтому некоторые заседания проводят закрытыми. Наша ячейка получила семь гостевых билетов. Я было пошел сегодня в Комклуб, а там впускают только делегатов. По дороге как раз встретился с Шарафи-абзы. Он прямо сказал: дело скоро примет другой оборот. Должны арестовать кожевника Вали. Твоего джизни выпустят. Но все застопорилось из-за этих «Четырнадцати» и «Двадцати четырех». Одни из них встали на защиту Вали. Он, мол, известный татарский меценат. Арестовать его — значит проявить бестактность. А другие говорят, что такого черного контру — помещика, капиталиста — давно надо было расстрелять...

Рассказам Шаяхмета не видно было конца. Нагимэ попыталась, как и вначале, терпеливо слушать его, но поняла, что ничего утешительного не дождется.

— Разговоры... разговоры!..— с горечью воскликнула она.— Одна болтовня! А делать — никто ничего не делает! Только пыжитесь! А я вот всю ночь глаз не могла

сомкнуть. Вспоминала и плакала, плакала и вспоминала. Всю свою жизнь с Садыком перебрала день за днем...

У Шаяхмета оставалось совсем мало времени, ему надо было ехать в лагеря, на маневры. Взглянув на часы, он вскочил:

— Ой, апа! Опаздываю! — и, схватив шинель, шлем, стремглав выбежал из комнаты, так и не дослушав сетований сестры.

Нагимэ осталась одна со своими тяжелыми мыслями. Что делать? Как быть? Она чувствовала свое бессилие, но сидеть сложа руки, когда Садык в тюрьме, тоже не могла. Наконец, приняв решение самой повидать прокурора, самой рассказать ему обо всем, накормила детей, позвала соседку-старуху приглядеть за ними и, выйдя из дому, направилась к центральной улице. Она быстро дошла до большого трехэтажного здания и по широкой лестнице мимо снующих вверх и вниз людей поднялась прямо в кабинет Гайфуллина.

XVI

Придурковатый Ахми сдался, можно сказать, добровольно. Это помогло напасть на след остальных. Приподнялся и другой конец завесы. Причиной тому оказался казакин Вали-бая, нежданно попавший на толкучке в руки сватов Джамали и Камали, а через них — в следственные органы.

В свободное от артельной работы время Джамали чинил, перешивал старую одежду, отглаживал ее как новенькую и нес на воскресный базар, надеясь выручить на пару пива. Его сват сапожник Камали поступал точно так же: добывал старые голенища, приделывал к ним головки, прибивал подметки, каблуки, чернил ваксой, начищал до блеска и, моля аллаха послать ему барыш, нес свой товар на толкучку.

Если торговля оказывалась удачной, оба свата по дороге домой заворачивали в пивную и пропускали по паре-другой пива.

В это воскресенье Джамали особенно повезло.

«Говорят, попа встретишь — неудача будет! Пустое все! Не один, а три попа враз дорогу мне перешли... Долгогривые, в серебряных крестах... Ничто не помешает, коли суждено. За брюки рупь на рупь выручил...

Куплю-ка я детишкам яблок и поищу свата. Тут уж нельзя не пропустить по одной...» — рассудил довольный Джамали.

Пробираясь по толкучке, он задел кого-то плечом, хотел было увернуться, но его крепко зацепила за бешмет застежка на казакине прохожего. Джамали остановился, чтобы отцепить злополучную застежку, и, странное дело, казакин на прохожем показался ему очень знакомым. Джамали захотелось разглядеть его получше, и он деловито спросил:

— Не продается часом?

Начался торг. Этот светлый добротного сукна казакин и в самом деле был знаком Джамали. Он внимательно, со всех сторон осмотрел его, вывернул карманы, рукава, но вместе с твердой уверенностью, что казакин «тот самый», в нем возникло и смутное подозрение. Однако, не подавая виду, Джамали спокойно сказал:

— Беру. Жди меня здесь. Я только подойду к свату, денег у него возьму,— и кинулся в гущу шумной толпы искать Камали.

Базар жил своей кипучей жизнью. Здесь все двигалось, кружилось, толкалось... люди, вещи — сотни, тысячи разных вещей, и над всей этой плотной, колыхающейся массой стоял неумолчный гул голосов. Джамали протискался сквозь одежный ряд. Брюки, пальто, подновленные утюжкой сюртуки, пиджаки... Торговцы размахивали всем этим видавшим виды тряпьем, расхваливали на все лады свой товар, рядились, ударяли по рукам... Камали здесь не было.

Джамали подался вправо, где так же все кипело и гудело, только здесь под носом у Джамали мелькали наведенные глянцем старые сапоги, латаные ичиги, залитые галоши, починенные штиблеты.

Не найдя свата и среди сапожников, Джамали стал пробираться дальше. Впереди висел растянутый между двух столбов огромный ковер.

— Двадцать аршин длина, шесть аршин ширина. Настоящий текинский, настоящий текинский! — зазывал покупателей старый татарин и расхваливал ковер, не жалея слов. Ковер и вправду был красоты неописуемой: дивное цветение роз, зелень листвы, трав, порхающие среди гибких стеблей яркие, разноперые птицы... Джа-

мали в жизни своей ничего подобного еще не видал. Ему не верилось, что это создали человеческие руки. Стоял бы он здесь, стоял и любовался, да надо было торопиться. Попав в мебельный ряд, где выстроились шкафы, зеркала, комоды, кровати, он оглянулся, чтобы еще раз посмотреть на ковер, но упал, споткнувшись о какую-то рухлядь, и, ругаясь, повернул палево. Там на подстилках, прямо под ногами, были навалены, разложены, расставлены старая посуда, безделушки, граммофоны, самовары, чайники, разбитые мандолины, скрипки без струн, серебряные и не серебряные ножи, вилки, ложки, чашки простые и тончайшего фарфора и еще и еще что-то, и со всех углов, со всех сторон, оглушая покупателей и прохожих, поднимался разноголосый крик торговцев, призывавших купить только их, только их редкостный товар.

И опять не нашелся Камали.

Джамали прошел еще левее. В нос ему ударил густой запах варева. Тут начинался обжорный ряд. Сколоченные наскоро маленькие палатки. В каждой палатке стоял стол, покрытый грязной скатертью. Рядом на примусах кипел суп, варились пельмени, жарилось мясо. А напротив, без всяких навесов, просто под открытым небом, готовили дешевые обеды из требухи. Неопрятные толстые бабы с красными, лоснящимися лицами суетились возле грубых непокрытых столов, разливали по тарелкам пахучий суп. Другие тут же в шипящих котлах жарили пирожки с капустой и зазывали истошными голосами базарный люд испробовать горячее.

Джамали обошел весь обжорный ряд, пересек его вдоль и поперек, но Камали не было и здесь.

— Нет... Видно, продал и ушел, не стал дожидаться...— вздохнул он огорченно и повернул обратно. Вдруг сзади послышался знакомый голос. Джамали живо обернулся и увидел свата, затеявшего горячий торг с покупателем.

— Ну, ладно. Добрая у тебя будет нынче покупка. Накинь полтинник и бери! — говорил Камали.

Чуваш-крестьянин никак не соглашался:

— Нет. Я дал что следует... Больше не могу.

Джамали бросился к свату:

— Ищу, ищу тебя, замучился совсем! Пойдем скорее, дело есть серьезное!

Камали, однако, не любил торопиться. Опять ударил по рукам, скинул пятачок. Чуваш собрался уходить. Тогда Камали сразу уступил пятиалтынный. А тот только рукой махнул.

— Набавь гривенник. Сапоги твои,— продолжал торговаться Камали.

— Так и быть, пятачок набавлю...

— Скупой ты оказался чуваш,— рассмеялся Камали.— Бери, носи на здоровье!

Еле дождавшись, пока сват сосчитает и пересчитает вырученные деньги, Джамали потащил его за собой через весь шумный базар показывать казакин.

Тот человек сдержал слово, не ушел. Джамали взял у него казакин и стал показывать свату:

— У бая небось одежи полно, может, раз в год и надевал его, видишь — целехонький! Ты погляди получше: ведь моя работа. Карманы-то, видишь, как вшиты. В ту пору в Казани никто, кроме меня, так не шил. А плечи? Как литые, я их трижды волосом протачал. Петли-то видишь? Машина так не обметает. Что и говорить, моя рука... А теперь смотри сюда!.. Видишь?!

Джамали вынул из кармана перочинный ножик и стал скоблить темные пятна на борту и на рукаве.

— Видишь? Ведь кровь это, кровь! Только землей присыпали и просушили. Чуешь теперь, куда дело клонится? Не Вали-бая подшибает? Ну, прочтет у меня Вали-бай отходную с этим казакином...

Незнакомцу разговор двух сватов что-то не понравился. Он смекнул, что ничего путного здесь не выйдет, и решил убраться восвояси. Но Джамали не пустил его:

— Не спеши, братец, подождешь малость! — И позвал милиционера.

Узнав, в чем дело, милиционер живо доставил всех в отделение. Там их допросили. Подозрения Джамали оправдались: казакин совсем недавно был подарен Вали-баем рабочему совхоза Ахми. Тот пьянствовал в марийской деревне, где гонят самогон, и пропил казакин. Оттуда и попал он к нынешнему хозяину.

Джамали был вне себя от восторга, шел — ног не чуял.

— А то занесся больно! Как, бывало, увижу его, так на сердце и защемит. Что же это, думаю: и прежде Вали-бай командовал, и при Советской власти он коман-

дует. Ладно... Поймал я его все-таки, а? Такое дело, сват, не обмыть нельзя. Пойдем, выпьем по паре, я угощаю!

По дороге в пивную Джамали, все так же горячась, рассказывал историю светлого казакина:

— А смекалистый я все же, а? Ведь когда это было? Года полтора всего прошло после японской войны... Жил я в ту пору в большом, каменном доме Вали-бая, что на главной улице. В подвале, конечно, жил... Позвал бай меня как-то к себе. Пошел я. «Вот, говорит, тебе сукно. Сшей мне казакин, да смотри, говорит, чтобы к празднику был готов. Но, говорит, крои не по-старинному — на пять сборов да на пять застежек, а по-нынешнему. Сукно, говорит, сам видишь какое, чтоб и работа была стоящая».— «Ладно,— отвечаю.— Работа будет первый сорт, и ты в деньгах не поскупишься». Сшил я ему казакин что надо! Плечи, грудь три раза волосом прошил. Карманы прорезал прямые, талию пустил ровную. Ну, прямо как живой получился казакин, сам по себе стоит! Увидел бай и ахнул. «Ничего, говорит, не скажешь, мастер ты своего дела. Первый в Казани мастер!» — «Старался!» — отвечаю ему.— Джамали гордо ткнул себя пальцем в грудь: — Вот что значит хорошая-то работа! Сколько прошло годов... Вали-бай состарился. Я тоже постарел. Был царь Николай — окочурился. Была война — кончилась. Голод был — прошел. Были у Вали-бая награбленные миллионы — не стало их. А казакин, который я сшил, цел и поныне. Так-то, сват Камали. Себе на голову сберег Вали-бай тот казакин!.. Подцепил я его, ловко подцепил. Коль, говорят, коготок увяз — всей птичке пропасть. Вот и Вали-бай увяз со своим казакином. Пусть теперь поговорит со мной!

Оживленно беседуя, сваты выбрались переулком на широкую людную улицу и дошли до высокого дома, нижний этаж которого сверкал стеклами витрин, а над дверью красно-зеленой вязью было выведено «Пивная». Ноги сватов словно сами задержались у двери и шагнули внутрь.

Сизый табачный дым тучей окутал зал, и невозможно было сразу разглядеть что-нибудь. Из густого смрадного тумана вырывался надтреснутый звук граммофона. В углу играли на гармошках слепые, а в середине зала

кто-то низким пьяным голосом подпевал им. Глаза постепенно свыклись с чадом и дымом, стали различать столы и тесно сидевших вокруг столов людей. А в пьяном сотрясавшем зал гуле уже можно было разобрать даже трезвые разговоры.

— Пожалуйте в заднюю комнату, там свободнее,— пригласил новых гостей официант в белом переднике.

С трудом пробравшись между столами, сваты вошли в маленький зал. Здесь тоже было дымно, чадно, тоже стоял пьяный крик, но все же спокойнее, чем в большом зале.

— Эй, Джамали-абзы, Камали-абзы! — раздался голос из угла.

Сваты увидели Сираджи и, довольные, что нашелся свободный столик, подсели к нему.

— Сколько? — спросил подоспевший тут же официант.

— Шесть,— заказал Джамали.

Хотя официант и не знал татарского языка, но обычные здесь слова — «две», «четыре», «шесть», «двенадцать» — понимал прекрасно. Он вмиг принес полдюжины бутылок, выстроил их шеренгой и, ловко открыв одну за другой, отошел от стола. Сираджи был сильно пьян.

— Этот чуваш Паларусов,— начал он, безобразно выругавшись,— настоящая собака. Поначалу-то хорошо себя повел, кочегара-бандита засадил. А теперь, будто взбесившийся пес, на всех начал кидаться.

Джамали даже растерялся немного. Он было приготовился рассказать со всеми подробностями историю казакина, но, услышав слова Сираджи, прикусил язык. Разлил по стаканам пенящееся пиво и молча выпил. Закусил ржаным сухариком и горохом, тонкий ломоть вяленой рыбы тоже оказался неплох. Потом, потягивая пену, выпил еще раз, еще закусил и, набравшись немного храбрости, сказал:

— Ты чего ругаешься, Сираджи? Говори толком, в чем дело?

Сираджи опять выругался, стукнул по столу кулаком:

— Тут уж как ни говори — все едино! Вали-бая схватили. Сам видел. На моих глазах повели. Это все Паларусова-подлеца дело! Как тут не ругаться!

Джамали с Камали так и засыпали его вопросами.

— Вы что, с того света явились? — Сираджи, который даже чуть отрезвел от ярости на Паларусова, зажег папиросу, затянулся и уже более вразумительно рассказал: — Собственными глазами видел. Вчера поехали мы за Волгу погулять маленько. Кончилось у нас пиво, я — на пристань за добавкой. Смотрю: двое вооруженных милиционеров сводят Вали-бая с парохода. Народу на пристани — полно, и все рты разинули, перепугались. «В чем дело?» — спрашиваю. Нашелся один, объяснил: оказывается, Вали-бай приехал на несколько дней в город. Окончил свои дела и — на пароход, домой, в совхоз, собрался ехать. Дали третий звонок, пароход вот-вот отчалит, вдруг комендант кричит капитану: задержитесь, мол, на минуту. В этот момент появляются двое милиционеров, поднимаются на пароход, прямо в четвертую каюту первого класса и выводят Вали-бая. Пароход отправляется своим путем, Вали-бая — в тюрьму... А все этот Паларусов да бандит Садык. Их рук дело...

Джамали слушал и только глаза таращил:

— Ну, дела! Ну, дела!

Сираджи одним духом осушил стакан и с еще большей горечью сказал:

— Думаете, на том кончилось? Не-е... Вчера вечером Салахиева из квартиры забрали. А нынче Паларусов вызвал на допрос Иванова, и тоже — прямехонько в каталажку!

Джамали был подавлен окончательно. Он и думать не мог, что событие, к которому он теперь считал причастным и себя, может принять такие размеры.

— Ну, дела! Ну, дела! — повторял он.

Сираджи выпил и в отчаянии замотал головой.

— Говорят, там какого-то косоглазого старика Гимади и дурачка Ахми арестовали. С этого дурачка будто и началось все. Он, пьяный, наболтал чего-то, а Паларусову только этого и надо... Конопатая Гайшэ, потаскуха убитого бандита Фахри, тоже набаламутила. Привезла, говорят, сюда какого-то полоумка кряшена[1], чего-то доказывать собираются.

Джамали пил свое пиво и только головой покачивал.

— Ну, дела! Ну, дела!

---

[1] Кряшен — крещеный татарин.

— Стоит человеку упасть — все враз начинают его колошматить. Еще нашлась какая-то сука, навалила невесть что на Вали-бая.

Джамали все глубже затаивал то, что недавно еще охотно рассказал бы Сираджи. Ошеломленный услышанным, он никак не мог сообразить, какую роль во всей этой истории сыграет окровавленный казахин. Но делиться с Сираджи своими размышлениями он не стал. Молча стакан за стаканом пил пиво и, хмелея, думал: «Вот она жизнь-то! Все меняется. И Вали-бая за глотку схватили!»

XVII

Небо заволокло свинцово-черными тучами. Накрапывал холодный дождь.

Вали-бай Хасанов брел, унылый, по пустынным улицам города. День был мрачный, беспросветный. А мысли в голове еще того мрачней, еще беспросветней. Не похоже было, что вернут ему отнятые миллионы, что жизнь повернет в старое русло. Какие бы он ни строил планы, все они рушились один за другим. Все его мечты оказывались нереальными. Впереди не было ничего светлого, ничего, что могло бы принести какое-нибудь облегчение. Погруженного в тяжелые думы Вали-бая догнал Иванов и поздоровался с ним. Когда-то он служил у Вали-бая, а теперь был ответственным работником земотдела.

Вали-бай, горько улыбаясь, пожаловался ему:

— Никакой возможности не осталось жить. Ведь есть-пить надо. И бездельничать тяжело. Нашел бы мне ты какое-нибудь место, Федор Кузьмич! — И, усмехнувшись, без всякой надежды добавил: — Чтобы получше да поденежней!

Иванов как-то испытующе взглянул на него:

— Постой, а у тебя имения не было?

— Еще какое!

— Серьезно?

— Уж куда серьезнее: на реке Казанке, недалеко от озера Зангар-куль, было у меня четыреста десятин земли, восемьдесят десятин леса, большое хозяйство, две мельницы. Достаточно?

— Дело не в этом. Ты сам хозяйствовал? Сумеешь сейчас заправлять делами?

— А как же?! До тонкости все знаю. Конечно, у меня был управляющий, но я каждое лето жил в имении, сам во все входил.

— Тогда все в порядке. Ты будешь первым татарским спецом. У нас как раз ищут человека, чтобы наладить хозяйство в совхозе «Хэмэт». Завтра же и приходи. Только предупреждаю заранее: работа на первых порах будет каторжная!

— Работы я не боюсь!

— Ну тогда давай устраивайся, пока я не перешел в прокуратуру!

На этом они расстались.

Вали-бай на следующий день явился в земотдел точно в назначенное время. Говорили с ним откровенно:

— Мы знаем, что вы были крупным капиталистом и помещиком. Известно нам также, что вы были контрреволюционно настроены и связаны с белыми. Но будем считать, что это — дело прошлое. Сейчас Советская власть привлекает к делам даже колчаковских генералов. Мы спрашиваем у вас прямо: хотите ли вы искупить ваше прошлое? Можете ли дать слово честно служить Советской власти?

Вали Хасанов даже обрадовался такой постановке вопроса, взволнованно ответил:

— Да. Сто раз, тысячу раз клянусь! Если в чем допущу ошибку, поправите, но сознательно на преступление против Советской власти не пойду. Не сдержу клятву — можете расстрелять!

Так он стал руководителем совхоза «Хэмэт». Домой Вали-бай возвращался уже более уверенный в себе, он чувствовал: крепнет у него почва под ногами...

Квартира Вали-бая представляла собой большую комнату в два окна. В ней и жил он с женой Мэриямбикэ и взрослым сыном Мустафой. В комнате было очень тесно. Здесь было собрано почти все, что уцелело из их домашнего скарба: две резные дубовые кровати, высокое, от пола до потолка, трюмо, на полу лежал совсем недавно вытащенный из потайного места дорогой ковер; в массивный, с зеркальными стеклами буфет тоже не так давно возвратились хрусталь, фарфор и всякая другая посуда; комод, сундуки в углах были набиты бесчисленным добром и одеждой... Прислуги хозяева не держали: боялись казаться состоятельными, да и краж

опасались. А когда Мэриям-бикэ бывала нужна помощь по дому, она приглашала кого-нибудь из хорошо знакомых старух.

Вали-бай вернулся домой сияющим. Мэриям-бикэ, которая накрывала в это время к обеду, не без удивления посмотрела на довольное лицо мужа, потому что давно уже не верила, что к ним теперь может прийти радость. Она постоянно бередила себя воспоминаниями о прошлом, молила аллаха возвратить старую жизнь, а нынешнюю считала адом, карой, ниспосланной на них свыше.

Расставив приборы, она внесла фарфоровую миску с дымящейся вкусной лапшой и позвала к столу мужа.

Вали снял пальто, пиджак и, помыв руки, уселся с молитвой за стол.

— Вот так, жена! Да будет все к добру. Я, положась на волю аллаха, согласился...

Мэриям-бикэ пододвинула мужу сметану.

— На что согласился?

Похлебывая жирную лапшу, Вали рассказал жене о беседе в земотделе. В голосе его, в каждом произнесенном им слове звучала радость. Но Мэриям-бикэ решительно воспротивилась мужу:

— Нет, нет, отец! Не выдумывай, пожалуйста. Мужики нынче с ума посходили, заважничали. Глаз тебе не дадут открыть, помещик, мол, бывший... Сам себя в беду не ввергай. Не поедем мы туда!

Вали протянул пустую тарелку, попросил еще лапши и, снова принимаясь за еду, сказал:

— Ты и не поедешь. Ведь Мустафе учиться надо, квартиру нам терять нельзя. Останешься дома...

— Нет, нет. И я не могу, и ты не поедешь! В этом еще пока нужды нет. Если будем жить бережливо — на наш с тобой век хватит. Да и не станем мы сидеть сложа руки, займемся кое-чем!

Вали отер полотенцем пот с толстой шеи, с лица и откинулся на спинку стула.

— Лапши хватит. Есть что-нибудь еще?

— Есть!

Мариям-бикэ принесла плов с урюком. Нагнувшись над тарелкой, Вали продолжал говорить:

— Ну, ладно. Скажем, проели мы с тобой все, что имели, умерли и отделались. А сына с чем оставим?

— Коли тратить с умом — и ему останется. Ты же не мулла, это муллы могут сидеть, надеясь на милость прихожан. При случае за торговлю попробуем приняться.

— А разве мы до сих пор не пробовали? — с горечью сказал Вали.— Открыл кожевенный завод. Полтора года мучился как собака, шесть тысяч ухлопал, а что вышло? Попытался примазаться к совнархозу. Только начал на ноги становиться — конкуренты свалили. Ты надеешься на золото, на бриллианты. Нет, жена, жизнь, оказывается, обманчива! Чего только у нас не было? Все пошло прахом! Имела наша фирма в четырех городах четыре крупных магазина? Имела. Имели мы три двухэтажных и трехэтажных каменных дома? Имели. Был для нас неограниченный кредит в банке? Был. Было время, когда клочок бумаги с моей подписью пользовался большим доверием, чем николаевская кредитка? Было. А что теперь? В одном доме детский сад, в другом техникум, в третьем диспансер. Не так ли? А магазины где? В одном хозяйничает «Татлес», в другом — «Татмашина», в третьем — «Таткнига».. Вот она как обернулась— жизнь-то!

Вали-бай умолк, в душе у него кипели горечь и злоба. Отпив поданный на третье компот, он снова заговорил:

— Так-то, жена. Ты говоришь, коли жить бережливо, на наш век хватит. Неизвестно. Откуда знать, что может случиться...

Ему хотелось отвлечься, отмахнуться от мрачных мыслей, но в голову, тесня друг друга, лезли отравленные горечью воспоминания.

Мэриям-бикэ убрала со стола. Переменила скатерть, поставила чашки, печенье, белый липовый мед, внесла кипящий самовар и стала разливать чай.

Помешивая ложечкой крепкий чай с лимоном, Вали все говорил и говорил, не в силах сдержать яростного напора воспоминаний о минувшем:

— Сколько было земель, сколько леса! А теперь? Даже на могилу земли не оставили. Этих большевиков еще и в помине не было, когда мужики захватили наши угодья. И кто бы мог подумать — свои, мусульмане, братья по вере! А ведь помнишь, сколько я строил для них мечетей, мулл для них содержал. Нет. Слышал я

когда-то, что не вера роднит, а богатство... Так оно и есть!.. Хотя какая теперь разница!.. Не захвати тогда крестьяне мою землю, все равно отняли бы Советы. Сердце болит, потому только и говорю... Никуда не денешься. Жизнь... Сильно она переменилась...

Вали надавил ложкой кружок лимона, выпил одним глотком успевший остыть чай и протянул чашку жене.

— Ты представь, мальчишки на улице дразнить стали... Иду я на днях с базара, а они пальцем на меня показывают, смеются: «Вон дедушка-контра идет! Дедушка-контра идет!» Один, такой настырный, все за мной бежит. Повернулся я, чтобы обругать его, а он, щенок, схватил камень и — в меня: «Вот, мол, тебе, контра!» Видишь, куда катится жизнь...

— Ну, мало ли озорников!.. Ты из-за пустяка руки не опускай. Не вечно так будет, переменится. Вчера вон жена Садри-бая рассказывала: англичане где-то там опять двинулись на нас. Всех большевиков прогнали, чтобы народ ихний не баламутили, а кто остался, тех перевешали, повырезали...

— Эх, жена, жена,— сказал Вали, отирая платком потное лицо.— Что сделают одни англичане? Видно, в этих Советах шайтанова сила сидит. Японцы, французы, поляки, американцы, можно сказать, вместе против них воевали, а ничего не вышло... Ты говоришь — переменится. Дай-то бог, поскорее бы! А если на беду не возвратится старое, если Советы станут еще крепче? Проедим, что имеем, а дальше? Милостыню пойдем просить? Пока еще мальчишки «дедушкой-контрой» дразнят, а там начнут кричать вслед: «Нищий-контра, нищий-контра! На, мол, тебе кусок!..»

Мэриям-бикэ и сама день и ночь об этом только и думала, день и ночь растравливала свое сердце. Она бредила возвратом их земель и лесов, каменных домов, магазинов, возвратом былой жизни, видела ее в снах и просыпалась — то радостная, то в страхе, в слезах. И все-таки такая полная безнадежность не понравилась Мэриям-бикэ.

— Слишком уж ты поддаешься мрачным мыслям! — с укоризной заметила она.— Аллах милостив, все перевернется, все будет по-прежнему...

— Эх, мать! — ответил Вали, беря из рук жены ше-

стую чашку чаю.— Уж который год переворачивается. Не чета нам с тобой, большие, ученые люди надеялись на переворот. Не горюйте, мол, что отняли ваше богатство. Это буря ненадолго. Пошумит и перестанет. Уляжется через три дня. Потом сказали, что через три недели, три месяца. Мы ждали. Ждали три дня, три недели, три месяца... Прошло три года, и еще три года. Скоро минет еще три года. Кто знает, сколько трехлетий придется ждать! Вот так, жена. Обжегшись на молоке — дуешь на воду. Нельзя, надеясь на журавля в небе, упускать из рук воробышка. Запасы пусть себе лежат,— они есть не просят. Коли настанет поворот в жизни, будет на что разворачиваться. А коли эти засидятся, золото тебе руки не оттянет,— каждый день, каждый час будет на подмоге. Заболеешь — сможешь лучшего врача пригласить. В деле каком попадешься, лучшего адвоката наймешь. Адвокат не вызволит — заберешься повыше. С золотом, бывало, и до министра и до царя добирались. Помнишь, чуть не пропали тогда, чуть кандалы на руках, на ногах не загремели! Выложили шестьдесят тысяч, до Распутина дошли, купили у царя помилование... Если мошна толстая, она и сейчас свое дело сделает: одного угостишь как друга, другого напоишь, тому в карты проиграешь, а тому на день рождения жены, детей или матери подарок преподнесешь...

Не скоро наговорились в тот день Вали и Мэриям. Печаль и безнадежность, тоска о минувшем и упование на возврат былого — все переплелось в их долгой беседе.

Потом, заперев двери, они пересчитали, пересмотрели все свои ценности. И тут старый бай выложил свой главный довод:

— Не об этом одном думаю я. На будущий год нашему Мустафе в университет поступать. Если я буду, как сейчас, без дела околачиваться, не примут его, скажут — спекулянтский сын. Если даже удастся устроить его, все равно при каждой чистке привязываться станут...

Мэриям-бикэ, хоть и противилась, но давно поняла, что нет для них другого выхода, и уже согласилась в душе на отъезд мужа в совхоз. Лишь безотчетный страх еще заставлял ее возражать:

— Была бы хоть в городе должность! А то в деревню ехать, к лапотникам! Ведь это — неотесанные, тупые

мужики! А теперь и вовсе будто с цепи сорвались, озверели...

Вали только рукой махнул:

— Нет, жена, нет! Нам в городе нельзя! Здесь каждая собака нас знает. Все пальцами тычут: «Вот, мол, Вали-бай идет...» Врагов у нас больше, чем друзей, и каждый норовит ужалить... Положимся на милость аллаха! Давай-ка собирай меня в дорогу.

XVIII

Наиболее трудным в приготовлениях Мэриям-бикэ оказалось найти надежного человека. Разумеется, нельзя отпускать мужа одного. Ведь должен там кто-то кормить, поить его, ухаживать за ним. Если поедет она сама, сын останется без присмотра. И все же после долгих колебаний Мэриям-бикэ решила, пока не наладится жизнь в совхозе, поехать вместе с мужем, а присмотреть за сыном пригласила давнюю знакомую — старшую жену Садри-бая.

— Все равно,— сказала она ей,— дома у тебя ни радости, ни покоя. Я поеду на несколько месяцев с мужем в деревню, налажу хозяйство, а ты подомовничай у нас, за сыном присмотри.

У Садри-бая в двух маленьких комнатках жили две его жены и трое детей. Все, что оставалось от прежнего богатства, было прожито. А тут еще жены-соперницы... Младшая жена оказалась женщиной злой, язвительной. Но она была молода, и муж благоволил к ней. Потому в доме ни днем, ни ночью не прекращались раздоры, все время вспыхивали скандалы. Случалось, дело доходило до драки, царапали жены друга в кровь, клоками вырывали волосы. Возвращался Садри с барахолки и принимался наставлять их уму-разуму кулаками, и, конечно, больше всего доставалось старой жене. Младшая прихорашивалась, ластилась к мужу и еще наговаривала на старшую всякую быль и небыль.

Понятно, что обрадовалась женщина. «Душа немного отдохнет»,— подумала она и согласилась на предложение Мэриям-бикэ.

Но несколько месяцев Мэриям-бикэ превратились в год, а к году набежало еще полгода. Оставаться больше в совхозе уже было невозможно. И сын скучал, звал

ее домой, и кое-какие дела настоятельно требовали ее присутствия в городе. Вдобавок жена Садри-бая стала выказывать строптивость.

«Скажите бикэ, пусть возвращается скорей, не то брошу ее сына, уйду!» — передавала она со всеми, кто ехал в деревню.

На первых порах старшая жена Садри-бая жила, радуясь покою, и впрямь отошла душой. Но вскоре же начала грызть ее ревность.

«Что я наделала! Оставила эту суку с мужем — на радость, на удовольствие!» — ругала она себя и уже рвалась домой к прежней жизни, к ссорам, к дракам с соперницей.

Мэриям-бикэ вернулась, отблагодарив женщину, проводила ее домой и снова принялась за поиски какой-нибудь старухи — послать в «Хзмэт» вести хозяйство мужа. Самым подходящим человеком была, безусловно, бабушка Минзифа. «Она, кажется, плохо живет с невесткой и, наверное, согласится»,— прикидывала Мэриям-бикэ. Не откладывая дела, она отправилась к сапожнику Камали — сыну бабушки Минзифы.

Минзифу в городе называли «бабушкой-стряпухой». И в самом деле, никто не умел так готовить татарские блюда, как она. Званый ли обед, свадьба, праздник в богатых домах — непременно приглашали бабушку Минзифу, и прослыла она в народе великой искусницей. Даже самые привередливые бикэ, восхваляя хлебосольных хозяев, не забывали отдать должное искусству старухи.

— Очень вкусный пирог, чувствуется рука Минзифы-апа...

— Гюбэдия[1] удалась на славу. Не старуха ли Минзифа пекла? — говаривали гости.

Но в последние годы Минзифу одолела старость. Не стало пышных, на диво людям, свадеб. Не стало и самих баев. Угасла былая слава бабушки Минзифы. Хотя иногда и приглашали ее новые богачи, тоже пытавшиеся задавать пиры, да куда им было до прежних!..

Мэриям-бикэ и Минзифа долго вспоминали прошлое и, отирая набегавшие слезы, обсуждали наиболее удав-

[1] Гюбэдия — многослойный пирог, национальное блюдо.

шиеся обеды. И только после этого бикэ перешла к основной цели своего прихода:

— Минзифа-апа, не откажи в моей просьбе, поезжай в совхоз. Готовишь ты лучше меня, и если б согласилась поехать, обрела бы моя душа покой.

Старуха даже руками замахала:

— Нет, бикэ, нет! Не люблю я деревню! В те годы поехала было за хлебом, да чуть жива осталась. Терпеть не могу мужиков! Чисто зверье. Еще топором порубят!

Но Мэриям-бикэ знала, ч[illegible] мягкое се[illegible]
и потому не отступалась:
— Напрасно та[illegible]
там. С одной сторс[illegible]
раскинулся, с треть[illegible]
[illegible], говорила, что[illegible]
как прошло полто[illegible]
имение. Дом та[illegible]
сад... да и к[illegible]
старик де[illegible]
Уговор[illegible]
его жен[illegible]
— Л[illegible]
рюсь в[illegible]
По[illegible]
ее п[illegible]

в старину говорили: «Девушку, что без матери выросла, в невестки не бери, джигита, что без отца вырос, в зятья не бери». Вот взяла такую за сына на свою голову...

Раздумывая обо всем этом, расстроенная, явилась бабушка Минзифа на квартиру Вали Хасанова. Мэриямбикэ уже проводила сына на занятия, ждала гостью с кипящим самоваром.

— Заходи, Минзифа-апа, заходи! — встретила она старуху. Усадила ее за стол и, радушно угощая, принялась дотошно втолковывать, что ожидает Минзифу в

ю, печку.
масло, молоко хранятся
живности.— Бараш-
аздобыть. А всякую
ама развела. Там у
упчатка, рис, урюк,
на десять. Стря-
говори, яйцо,
знала: у
Минзифа-
компот за

блюдам:
а, ста-
ь муч-
уч-
му

один по имени Ахми. Сунешь ему иногда остатков со стола, так он сам будет прибегать: что, мол, надо сделать, бабушка!.. Кажется, все я тебе рассказала. Да, я туда много посуды навезла для мужа. Смотри не путай с посудой работников... И еще... Можно бы и не говорить, сама бы увидела, но лучше предупрежу: есть там старик Гимади. И лето и зиму в одной и той же шапке ходит, джилян веревкой подпоясывает, лапти носит. Так-то он человек послушливый, ни в чем мужу не перечит. Но есть у него плохая привычка: все караулит, не пеку ли я что-нибудь вкусное. Ты стараешься, готовишь, а не успеешь еще на стол подать — уж он тут как тут! Старик-то у меня не привык отказывать, всегда приглашает: «Садись, говорит, Гимади-абзы, поешь!» Ну, а тому только и надо: накинется будто обжорливая корова, вмиг все подберет. Ты, Минзифа-апа, будь с ним построже!..

От бесчисленных ее советов у бабушки Минзифы распухла голова, под конец она уже ничего не соображала. Хорошо еще вошел кучер, прервал ее мучения.

— Ехать бы надо,— сказал он ворчливо.— Опаздываем.

Бикэ велела кучеру взять корзину и пошла за ним вместе со старухой. Оказывается, наставления ее еще не кончились:

— Тебя учить не надо, Минзифа-апа, сама все увидишь, только так, на всякий случай говорю. Там есть большой сад, от помещика остался. Рассказывают, что был он раньше весь в цветах, но когда воевали белые с красными, солдаты в усадьбе стояли, так они все вытоптали. Я там навела порядок. В двух шагах от террасы, сама увидишь, начинаются грядки: лук, огурцы, морковь, свекла, редька. И еще там капуста посажена, тыква, хрен... На весь год нам хватит... Времена ведь нынче тяжелые, Минзифа-апа, на базаре не накупишься!.. Семена мне из Казани привезли, жены тамошних крестьян накопали грядки. Сейчас все принялось: уж ты, Минзифа-апа, не забудь, проследи, чтобы в жаркие дни грядки поливали утром и вечером. Ведь старик мой очень овощи любит. Зелень, говорит, мне всегда в охотку... Ну, вроде все сказала, только вот, Минзифа-апа...

Лошадь тронулась, загрохотал тарантас, не дав Мэриям-бикэ досказать очередное наставление.

XIX

С грузом этих бесконечных советов и иаставлений приехала бабушка Минзифа в совхоз «Хзмэт».

Мэриям-бикэ не обманула ее. Здесь, можно сказать, все было так, как она рассказывала. Внизу, под обрывом, изгибаясь, сверкая под солнцем, текла Волга. От самого берега далеко-далеко тянулись дремучие леса. К западу от лесов полоса за полосой простирались пашни. Среди пашен и лугов, невдалеке от берега расположился совхоз «Хзмэт». Двухэтажный особняк и огромный сад, большую часть которого занимал огород, были огорожены расшатанным забором и колючей проволокой, а с одной стороны примыкали к обширному двору с ветхими конюшнями, амбарами, клетями... Как и говорила бикэ, здесь были и отличная кухня, и погреб, и еще много разной разности, о чем та и не упомянула. В совхозе с утра до вечера толклись крестьяне, одни уходили, другие приходили, возились с плугами, боронами, телегами, семенами, шумели возле трактора. Сюда то пригоняли лошадей, коров, овец, то опять угоняли неведомо куда.

Вали-бай целыми днями крутился тут; с одними ругался, с другими разговоривал спокойно, распоряжался насчет работ, получал, выдавал деньги.

Но бабушка Минзифа в этой суматошной жизни не видела ни смысла, ни толка, ни тем более удовольствия. И чем дальше, тем больше росло в ее душе какое-то смутное беспокойство. А несколько человек, которых она случайно заметила среди вечно сновавших в совхозе русских, чувашских и татарских крестьян, еще более растравили ее встревоженную душу.

Приехал однажды в совхоз какой-то широкоплечий, грузный мужик в новых ладных сапогах. К оглобле его упряжки была прихлестнута за повод еще одна лошадь. Было очень рано, Вали-бай только что сел за утренний чай. Мужик этот вдруг, не спросясь, прямо прошел к нему. Вскоре они оба вышли. Вали приказал работнику, которого все называли «дурачок Ахми», оседлать для него лошадь, а сам вывел из конюшни могучего вороного жеребца-шестилетку. Красавец жеребец не стоял, а плясал иа месте. Увидев его, кобылы приезжего вдруг мелко, всем корпусом задрожали и заржали тонко, точно

взвизгнули. Вороной заплясал еще пуще, всхрапнул, рванулся к кобылам, но Вали был человек сильный, замотал на руку поводок и удержал жеребца.

Ахми тем временем подвел оседланного мерина. Бай передал ему поводок от жеребца и пошел с приезжим мужиком в клеть — показал очищенные семена, потом — стальной трактор, стоявший под навесом.

— Ты, Низами,— сказал он мужику,— жди, пока я не вернусь. Кобыл твоих Ахми в загоне к жеребцу пустит... Я съезжу на пашню к работникам.

Он вскочил на мерина и поскакал в поле. Низами повел своих беспокойных, непрестанно дрожавших кобыл в загон. Едва удерживая жеребца, который яростно ржал и вырывался из рук, Ахми пошел за ним.

У бабушки Минзифы, как увидела она приезжего, так сердце и сжалось; а когда услышала его имя, совсем испугалась старуха. «Кто же он — этот Низами? — раздумывала она— Где я его видела?»

В тот же день вечером во дворе совхоза поднялся шум. Мужик по имени Фахри ругал Вали как собаку.

— Ты что?! — кричал он.— Думаешь, сел здесь на место помещика? Лучше уймись, а то и не заметишь, как полетишь отсюда!

В ссору вмешался Гимади. Он тоже кричал, размахивал руками. У него и так был тонкий голос, а тут стал совсем пронзительным. Сердце у бабушки Минзифы заколотилось.

«Постой,— подумала она,— я уже слышала где-то этот голос...»

Все перемешалось в голове старухи. А появившийся позже в совхозе тракторист совсем смутил ее. Был он молоденький и ловкий. Говорили, что парень он толковый, понимает душу трактора, все его повадки знает. И вот этот тракторист был как две капли воды похож на человека, которого Минзифа встречала очень давно. «Как же это,— терялась в догадках старушка,— где я могла видеть всех этих людей? Пропади она пропадом! — мысленно обрушивалась Минзифа на невестку.— Чтоб ее перевернуло всю, аллах чтоб ее поразил! От нее, только от нее все зло! Вот уже истинно: не сыта глотка, да покойна голова! И чего я сюда, в мужицкое логово, прикатила?! Грязные лапотники! Да еще упрямые, как свиньи. И чего мне здесь было надо? Все из-за невестки

проклятой! Тут того и гляди нагрянут с вилами, с топорами! Убьют, как тогда убили Бирахмета. Привяжут к конскому хвосту и погонят... А откуда Низами взялся?.. Ведь люди с ружьями повели расстреливать его! Или они все из могилы поднялись?..»

Окончательно запуталась старуха, даже сна лишилась. Лежала долгими осенними ночами, глаз не смыкала — перебирала все в памяти, думала, гадала, как это случилось, почему знала она этих людей...

XX

То было время, когда на фронтах шли ожесточенные бои. Все силы были брошены на разгром врагов, поднявшихся против Советской страны. Хозяйство было разрушено, разорено. Торговля прекратилась. Есть было нечего. Жить в городе становилось невмоготу.

Сапожник Камали, чтобы как-нибудь прокормить изголодавшуюся семью, кидался туда-сюда, но ничего путного у него не выходило. О куске новой кожи не приходилось и мечтать. Даже старых голенищ невозможно было найти. Если же попадались голенища, не оказывалось подметок, подвернутся подметки, опять же — ни ниток, чтобы прошить, ни гвоздей, чтоб прибить. А раздобудет, так все одно неладно. Работать-то надо было вечером, а где взять стекло для лампы, где взять керосину, фитиль? Но если даже повезет во всем и соберет он из старья, сошьет, сколотит пару ичигов — не было базара, где продать. Не было денег. Не было покупателя.

И все же торговая братия не могла бездействовать. Она из ничего устраивала базары. Откуда-то выкапывала сохранившиеся лоскуты аршинного товара, выкладывала на лотки остатки галантереи, тащила застежки с цветными камнями, иголки с позолоченными ушками, катушки ниток и выстраивалась где-нибудь на площади. Тут же собирался скобяной ряд — выкладывались кучками старые, заржавленные замки, гвозди и всякий-всякий лом. Еще набегала целая толпа с заношенными, потерявшими всякую форму каляпушами, шапками, калфаками [1], старыми брюками, бешметами... Все начинали

[1] Калфак — женский головной убор: маленькая бархатная шапочка, вышитая жемчугом или бисером.

шуметь, галдеть, обманывать, обманываться. И в самый разгар базара кто-то с ужасом замечал вооруженных верховых.

— Облава! Облава! — раздавался истошный крик, и базарный люд, только что тучей закрывавший площадь, в одну минуту подбирал разложенный товар, совал его в мешки, в карманы, прятал в голенищах и рассыпался точно галочья стая, завидевшая коршуна. Площадь пустела. И торговцы и покупатели разбегались по прилегавшим к ней улицам, переулкам. Но верховые молниеносно окружали все эти улицы и переулки, сгоняли людей в кучу со всеми их ведрами, ичигами, граммофонами и драными мешками, и начинался обыск. Проверяли не вещи, а документы. Тех, у кого бумаги оказывались в порядке, тотчас отпускали, а дезертиров, людей, которые уклонялись от работы и от фронта, забирали под стражу.

Камали по-своему был даже другом Советской власти. Его ни разу не заподозрили ни в дезертирстве, ни в чем другом. Но когда в дни облавы ему не удавалось продать с трудом заготовленный товар, его любовь к Советам если и не исчезала совсем, то убывала наполовину.

В те годы Камали жил в нижнем этаже каменного, конфискованного у какого-то бая, дома. Квартира сама по себе была неплохая. Но топить не было дров, и углы комнаты сплошь заледенели. А тут еще кто-то стекло разбил в окне. Чтобы вставить, не нашлось ни стекла, ни мастера, ни денег. Днем окно затыкали подушкой, ночью заслоняли большой стряпной доской. Тепла она не сохраняла, конечно, но от ветра и снега защищала. Каждый раз, неся ичиги на базар, Камали надеялся заработать на стекло. Да куда там! С деньгами в ту пору творилось неведомо что. Возвращаясь с базара, Камали всегда ругался:

— С этими спекулянтами — просто наказание! Только вчера фунт хлеба стоил два миллиона. За одну ночь на пятьсот тысяч подскочила цена. Добро бы, хлеб был как хлеб! А то — толченая солома пополам с овсяными отрубями. Да еще без соли! И чего смотрит наша Чека? Почему не заберут всех этих спекулянтов и не расстреляют?..

На соседней улице был кооператив. Время от времени там выдавали хлебные пайки. Иногда даже хорошие

пайки. Весь февраль почти каждый день отпускали по четверть фунта на душу. А в последнюю неделю стало плохо. Когда ни пойдешь, на двери записка: «Хлеба нет».

Взрослые еще как-нибудь, а дети очень мучились от голода. Вначале плакали, просили. Схватятся за животы и кричат: «Дай хлеба! Дай хлеба!» Потом стихли. Ослабли совсем, высохли. Пожелтевшая, сморщенная кожа присохла к костям, как у старух. Казалось, жизнь угасла в них совсем. Дашь кусок — давятся, глотают не жуя. Не дашь — так, скрючившись, и лежат, закутанные в лохмотья.

Эта лихая беда чуть не свела с ума жену Камали Хафизу. Муки голодных детей приводили ее в отчаяние, и она срывала бессильный гнев свой на свекрови, поскольку та чаще других подвертывалась под руку.

— Люди каждую неделю в деревню ездят,— накинулась она как-то на Минзифу.— Глядишь, мучицы привезут, крупы, масла, яиц. А тебе и в голову не придет поехать! Детишек бы хоть пожалела! Конечно,— невесткины дети, пускай подыхают!

Старуха даже затряслась от страха:

— К мужикам ехать?! Выдумает же такое! Что я, смерти себе искать поеду?

Ссоры стали возникать каждый день. Свекровь и невестка, казалось, уже не могли обходиться без этих столкновений.

— О себе только и заботишься! — начинала Хафиза.— Невесткины, мол, дети, не жалко, коли и помрут.

— Дети, дети!..— вскипала старуха.— Заладила одно. А сама чего не едешь? Ты, молодая, будешь, поджав ноги, дома сидеть, а я к псам взбесившимся поеду? Ох, и золотой у тебя разум! Недаром в старину говорили: «Матери шестьдесят — служанку не надо брать...» На моем горбу хочешь выехать?

Голодные глаза невестки загорались злобой:

— Хватит тебе на старости лет языком трепать! Подумаешь — шестьдесят лет! Как только язык не отсохнет? Это я день и ночь на тебя работала! А что получила? Кяушей путных не носила, ничего, кроме твоих обносков, не видала. Все тебя обхаживала: мыла, стирала; когда ты болела, из-под тебя выносила. Как молить-

ся настанет пора, теплой воды в кумган[1] наливала... Намазлык[2] расстилала... А ты и не замечала, как я уважить тебя старалась,— зверем лютым меня грызла!..

И всякий раз Хафиза, начав с разных обид, переходила все к тому же разговору о муке, о поездке в деревню. Поняла старуха, что не отстанет от нее невестка, что и сын, Камали, в лад с жёной тянет, не выдержала, согласилась:

— Не миновать, видно, того, что суждено аллахом. Так и быть, съезжу разок...

И сразу прекратились ссоры в доме. Невестка забыла о всех своих обидах, всячески пыталась задобрить свекровь: дала ей свой стеганый камзол, надела ей на ноги свои мягкие шерстяные чулки.

Бабушку Минзифу снаряжали в путь всем домом. Выложили все, что нашлось в хозяйстве: два старых платка, поношенный каляпуш, латаные ичиги, платье, полтора фунта соли, две щепотки чаю — не морковного или травяного,— а настоящего китайского. В последнюю минуту Камали сбегал на базар, купил три коробки спичек — заплатил по десять тысяч за коробок. Вот с этим добром и должна была отправиться бабушка Минзифа в деревню.

Кое-что старуха натянула на себя, остальное спрятала за пазуху, сунула за голенища ичигов и морозным утром, усевшись в сани какого-то спекулянта, выехала за продовольствием. Сердце ее сжималось от страха. Губы шептали молитву, застилало глаза слезами:

— Что же это за напасть, господи? Невесткой была — свекрови не угодила, свекровью стала — невестке не угодила. За какие прегрешения наказываешь, господи?!

XXI

А страхи-то, кажется, оказались напрасными.

Сколько в пути ни встречали они людей — даже с винтовками и дубинками,— никто их не повесил, не зарезал. Мало того, некоторые сами уступали им дорогу и приветствовали их! И никто не только не остановил, не

[1] Кумган — медный кувшин для воды.

[2] Намазлык — коврик для свершения намаза — молитвенного обряда.

ограбил, но даже не спросил у них, куда они едут и зачем...

В деревне Шеланге жил родич покойного старика Минзифы Ситдык. К нему и привез попутчик бабушку Минзифу. День клонился к вечеру, шел густой снег, ветер усиливался, тянуло к вьюге.

Деревня была та же, что и прежде. Те же стояли избы. Как и всегда, из труб над избами лениво вился вверх белесый дым.

Все было по-старому. Только встретили гостью у Ситдыка совсем не по-обычному.

В избе было темно, а огня не задували. Ситдык усадил бабушку на саке и сурово сказал:

— Может, ты и осудишь нас, Минзифа-апа, но угощать нечем. Поставил бы самовар — чаю-сахару нет, хлеба — ни кусочка. Вот и темно у нас. Стекло в лампе еще в прошлом году разбилось. Керосину уже давно нет и в помине... Так и живем. Сыновья все на фронте, у красных.— И, помолчав, добавил: — Опять помещики поднимаются. Пока не покончат с ними, видно, не будет ни покоя, ни порядка...

Старуха, слушая его, стала потихоньку раздеваться и выкладывать привезенные вещи. Достала из-за пазухи коробок спичек. Это уж оказалось целым богатством. Из-за того, что не было спичек, приходилось постоянно поддерживать жар в очаге. Если гас огонь, шли с лучиной к соседям. Случалось, ветер раздувал пламя, искра попадала в солому, вспыхивал пожар. Вот только вчера едва спасли избу Хайруллы, что в нижнем порядке. Случись это летом, все бы пропало. Хорошо — снег помог. Чуть заметался огонь по крыше, сбежали соседи и закидали избу снегом.

Ситдык рассказывал про пожар, а сам краешком глаза разглядывал вещи, которые раскладывала на столе бабушка Минзифа. Потом придвинулся поближе и тоном, в котором были и насмешка и зависть, проговорил:

— В другое время, Минзифа-апа, твое тряпье выбросили бы в нужник. А нынче и это добро. Кой-чего выручишь... Я сам тебе все устрою, с пустыми руками не вернешься.— Мать, где ты? — крикнул он, высунувшись в дверь.— Минзифа-апа приехала! Поставила бы самовар, чай-то травяной небось найдется!

Бабушка Минзифа вынула из-за чулка сверточек с китайским чаем, протянула Ситдыку:

— Это тебе Камали прислал. По нынешним временам, говорит, ничего, кроме щепотки чаю, не могу послать.

В избу, занося с собой стужу, сбивая на ходу снег с валенок, вошла хозяйка. Она поздоровалась с бабушкой и, жалуясь на жизнь, на голод, на тревоги, поставила самовар. Достала с печи лучину, зажгла, в избе сразу стало веселее.

После чая позвали соседей, приступили к обмену. Бабушка оказалась удачливой. За привезенные вещи ей дали три четверти фунта масла, четыре фунта крупы, шесть фунтов муки, два десятка яиц, полтора фунта мяса... Это было целым состоянием. Глаза у бабушки оживились, даже обиды на невестку, накопившиеся в душе, сразу улетучились.

В довершение всего нашелся хороший попутчик. Сосед Ситдыка толстый Низами собрался ехать в город. Сани у него были просторные, лошадь хорошая. Низами сам и предложил подвезти бабушку, еще совет дал:

— В дороге всякое может стрястись, бабушка. Кое-где в деревнях задерживают, обыски учиняют. Так ты прикинься больной. Будешь лежать, а коли остановят, заохаешь, животом, мол, маюсь, к доктору еду. Ладно?

Старуха с радостью согласилась.

Уложили ее в сани, прикрыли получше. Низами — в теплой, туго подпоясанной шубе, шапке, в пестрых пимах, в толстых рукавицах — сел за кучера. Лошадь у него и в самом деле оказалась хорошей, так и понеслась по свежему снегу.

Проехали какую-то деревеньку. Никто их там не останавливал. Потом въехали в лес. Ветер стих, крупными хлопьями падал снег, мягко устилал дорогу. Деревья вокруг стояли точно окутанные белоснежной ватой — пышные, огромные... Лес был небольшой. За ним начиналось поле. Широкое, ровное, оно казалось бескрайним снежным морем. Через несколько часов пути дорога пошла на подъем. С вершины горы далеко виднелись поля, леса, деревни, и все кругом было бело, все сверкало...

Гора осталась позади, сани снова плавно заскользили по снежной равнине. Вдруг у самой дороги мелькнул пушистый комок. Это заяц увидел проезжих, навострил уши и, перебежав им дорогу, скрылся из глаз.

Путникам это показалось плохим предзнаменованием.

— О-ох! — тяжело вздохнул Низами.

Бабушка Минзифа опять потеряла обретенный недавно покой. Сильно встревоженные, они въехали в большую, богатую деревню.

То была деревня Акташ. И здесь все улицы замело снегом, занесло плетни, ворота.

— Бабушка,— окликнул старуху Низами,— мы тут к одним знакомым заедем. Лошадям надо передохнуть, да и сами обогреемся.

Минзифа была согласна на все.

— Делай как знаешь...— пробормотала она.

XXII

У знакомого Низами было два, построенных бок о бок, дома на самой большой, главной улице деревни. Комната, в которую ввели путников, была жарко натоплена. Вскоре вскипел самовар. Но напиться чаю так никому и не удалось. Только бабушка Минзифа поднесла, помолясь, блюдечко ко рту, как на улице поднялся страшный шум. Все бросились к окнам и увидели: бежит какой-то человек в шинели, за ним с криком гонятся несколько мужиков:

— Держи! Лови! Бей его!..

Они пробежали дальше, но крики не стихли. В одиночку и группами сновали по улице крестьяне, вооруженные вилами, топорами, лопатами. Их становилось все больше. Вот послышался глухой, разноголосый гул. С нижней улицы, потрясая вилами, кольями, появились еще люди. Между ними выделялся человек в белой чалме. Он вдруг начал во весь голос читать такбир[1]. Ему стали вторить остальные.

— Аллах акбэр, аллах акбэр...[2] — понеслось над деревней, как в праздник Курбан-гаита[3].

Хозяева дома и Низами кинулись на улицу. Бабушка

[1] **Такбир** — прославление аллаха.
[2] **Аллах акбэр** — слова такбира: «аллах велик».
[3] **Курбан-гаит** — большой религиозный праздник.

на

лой

—

Ляиля...[1]

Грохн...

и в избу, ра... ...юди.
Рослый, здоровый мужик с железной бляхой на груди, заглянув на печку, крикнул:

— Что таращитесь! Вот он, старухой переоделся!

Несколько мужиков стянули бабушку Минзифу с печки. Один содрал с ее головы платок, потянул за клок седых волос. Другой разжал ей руками челюсти, заглянул в рот и оттолкнул от себя.

— Да нет... У нее и зубов-то во рту не осталось, только два корешка и торчат впереди...

— Что безгрешную старушку мучаете? — воскликнул вдруг один из мужиков, заглянув под саке.— Здесь он! — И стал тащить кого-то за ноги.

Сначала показалась пара ног в сапогах, потом брюки-галифе. Уже по одежде опознав прятавшегося, мужики с помутившимися от ярости глазами бросились к нему и, не давая подняться, начали бить, топтать его. Парень не растерялся. Прикрывая левой рукой голову, он изогнулся — и правой вынул наган из кобуры.

— Прикончите этого ублюдка! — заорал, взмахнув дубинкой, мужик с бляхой на груди. Раздался выстрел. Бабушка Минзифа, которая ни жива ни мертва стояла,

---

[1] Начальные слова молитвы.

-н-

ели

вари

о было

Фахри с

крестьян-ство, могут послать кого-нибудь в город, чтоб там поторопили отряд...

Очнувшиеся от первого страха мужики стали снова подбираться к окнам, к двери. Видя, что Бирахмет, стоя посредине избы, смотрит на них злым, затравленным взглядом и не стреляет, мужики осмелели.

— Видели, сам аллах защитил меня! — подбадривал всех староста Хайрулла.— Прямо под ухом свистнула пуля, а не попала! — Размахивая дубинкой, он подошел к двери: — Ну, чего застыли?! Пошли!

Несколько мужиков последовали за ним.

— Стреляй! Ну, стреляй! — исступленно вопил кулак, наступая на Бирахмета.— Погибну, так за святое дело!

Наган у Бирахмета был пуст, потому он и не стрелял. Но он сдался не скоро. Ударом нагана разбил Хайрулле щеку, выбил зубы, нанес раны еще кое-кому из мужиков. Но один осилить это озверевшее кулачье он был не в силах. С налитыми кровью глазами, уже не соображая, кого за что бьют, они подмяли комсомольца и вмиг растерзали его: переломили руки, ноги, разбили голову. Пол в избе весь потемнел от крови. Хайрулла, успевший сбегать к соседям и перевязать щеку, продолжал наскакивать и вопить:

— Чего смотрите? Это он хотел религию нашу изничтожить! Он нас грабил, коммунию собирался устроить!.. Это он хлеб у нас отнимал! Чего смотрите?! Чтоб род его весь сгинул! Прикончите ублюдка! — И, схватив живого еще комсомольца за сломанную руку, поволок его на улицу.

Потом привели еще одного сильно избитого человека. То был деревенский учитель Хабиб Джагфаров. Увидев окровавленного учителя, старик в джиляне и лаптях, тот самый, который тонким голосом возносил такбир, спросил недоуменно:

— Учителя-то зачем трогать?! Он же не с коммунией!

Некоторые из толпы тоже подали голос в защиту учителя. Но кулак с бляхой быстро пресек разговоры.

— Ты что за него заступаешься? — заорал он на старика.— Сам того же захотел? Учитель Хабиб—такая же собака! Хоть и не из коммунии, а с ними из одной чашки лакает, их песню поет!..

— Верно, верно! — раздалось со всех сторон.

— С корнем надо их уничтожить!

Прискакал чей-то паренек на резвом рыжем жеребце, к добротному кожаному хомуту на шее жеребца был привязан длинный прочный аркан.

Староста велел подтащить ближе живых еще учителя и комсомольца, их туловища накрепко захлестнули арканом и с криком: «Гай... Гайда!..» — ударили жеребца.

От неожиданности жеребец шарахнулся и, взметая комья окровавленного снега, понесся по улице, волоча за собой Бирахмета и Хабиба. Их подкидывало, бросало из стороны в сторону, било обо все, что попадалось на пути. За ними по кровавому снегу с неистовым лаем бежали собаки; криком кричали дети, бабы. А жеребец, подгоняемый пареньком, носился со своим страшным грузом по улицам деревни.

Вдруг в верхнем краю, на околице заколыхалось что-то темное, тучей застило заснеженный путь и двинулось вниз по улице. То, вспугнутые кем-то, бежали мужики со своими вилами, кольями, топорами.

— Что бы это значило?..— озадаченно спрашивали все друг у друга и вдруг увидели, что убегавших преследовали люди в серых шинелях с винтовками, саблями в руках...

— Спаси аллах, опять польется кровь...— прошептал, бледнея, старик с тонким голосом.

Внезапно заговорил пулемет.

— Тк... тк... тррр... тк... тк... тррр...— трещал он, точно сыпал свинцовым горохом по тонкому железному листу. И в ту же секунду на улице не осталось никого. Все разбежались. Паренек, гонявший по деревне лошадь, чтобы замучить до смерти Бирахмета и Хабиба, тоже исчез. Лошадь, оставшись без седока, кинулась в первые же ворота, но тут голова Хабиба застряла, зацепившись меж двух столбов. Лошадь рванулась, голова держалась крепко, рванулась второй раз, третий — голова оторвалась, и лошадь, волоча трупы, вбежала во двор.

Тем временем возле сельского Совета собрался штаб. Вынесли из помещения стол, стулья. Первыми сюда подоспели Фахри и Шангерей. К их шинелям и шапкам пристало сено.

— Едва спаслись... Старик Джиханша на сеновале спрятал,— объяснили они.

Вскоре штаб окружили бедняки, прятавшиеся во время кулацкого бунта на чердаках, в овинах, в скирдах. Двое батраков привели мужика с бляхой на груди. Это был бывший староста Акташа богатей Хайрулла.

К тому, что он получил давеча от Бирахмета, видно, добавили еще: вид у него был сильно потрепанный.

Фахри, позвав с собой одного красноармейца из батальона, пошел разыскивать по деревне жертвы восстания. Его с криками окружили ребятишки:

— Дядя коммунар! Там они! Дядя коммунар, пойдем!

Пошли. Лошадь, прядая ушами, стояла, прижавшись к плетню, около конюшни. Рядом, распластанные, лежали окровавленные трупы, а несколько собак сидели, вытянув морды, невдалеке, будто поджидали чего-то. Отвязав аркан, лошадь запрягли в сани, положили на них тела убитых и повезли к штабу.

— Узнаешь их? — спросил старосту командир батальона Вильданов, показывая на останки Бирахмета и Хабиба.

Хайрулла молчал. Вильданов повторил вопрос. Тот не отвечал ни слова, стоял, поглаживая правой рукой

знак былой своей власти — металлическую бляху, которую сегодня нацепил снова.

— Ты что, немой?

— Нет, почему же. Только какая теперь польза от разговоров?

Его тут же поставили к забору и расстреляли при всем собравшемся народе. Он до последней минуты не отнял руки от своей бляхи.

Восстание успело охватить немало деревень. Создали ревком. Председателем его стал Фахри. Вильдаиов же повел батальон дальше, поручив ревкому похоронить с почестями Бирахмета и Хабиба.

Труп бывшего старосты, кулака Хайруллы, родня его тайком от людей захоронила в яме, которую называли в деревне «Чертовым логовом».

XXIII

Низами, оказывается, не распрягал лошади, он только отпустил ей подпругу и привязал под навесом у кормушки. Подождав, когда уйдет батальон, он уложил еле живую от страха Минзифу в сани и задами, проулками выбрался из деревни. Они благополучно проехали еще через несколько селений. Нигде им не чинили ни допросов, ни проверок. Но ближе к городу опять стало неспокойно. В татарской ли, русской, чувашской деревеньке — все равно — неожиданно из самых бедных избушек навстречу путникам выскакивали вооруженные люди и, остановив лошадь, начинали обыск. Бабушка Минзифа лежала, крепко обхватив руками спрятанные за пазуху крупу и муку. Их-то у нее и отобрали сразу.

— Не плачь, бабка, доберемся живы-здоровы до города, я сам отдам тебе пять фунтов крупы! — успокоил ее Низами.

У старухи немного отлегло от сердца. Она даже подивилась,— водятся еще на свете добрые люди. Теперь одно было у нее в мыслях: довезти в целости-сохранности то, что осталось, и о том лишь горячо молила она аллаха.

Но не внял аллах ее мольбам.

Уже показались трубы городских фабрик и заводов, вселяя в старушку надежду на скорый приезд домой, но в какой-то маленькой деревне их опять задержал заградительный отряд.

— Что везешь? — спросили у Низами.

— Везу мать председателя нашего Совета,— спокойно ответил Низами.— Животом она болеет, доктора резать велят...

Вооруженный крестьянин в лаптях пристально взглянул на него и сказал смеясь:

— Чего обманываешь? Знаю я тебя! Ну-ка, слезайте!

Он довольно грубо стащил их обоих с саней, раскидал подстилки и, поддев штыком, приподнял санное дно. Тут же больше всех была поражена бабушка Минзифа: сани оказались с двойным дном. Оттуда вытащили пуд белой муки, двух жирных гусей, четыре круга колбасы, топленое масло, пшено и много разных других вещей. Все это сложили на обочине, подсчитали, записали и дали Низами бумажку.

Лошадь тронулась. Сани легко заскользили по дороге, но один из отряда вдруг остановил лошадь и, вынув из кармана ножик, не торопясь, сделал надрез на хомуте и раздвинул кожу. Бабушка Минзифа глазам своим не поверила: из хомута выпали аккуратно сложенные николаевские кредитки и керенки.

— И это к доктору везешь? Тоже животом болеют?— язвительно спросили у Низами.

Крестьянин в лаптях остался с отобранным добром, а другой рассовал деньги за голенища сапог и уселся рядом со старухой в сани:

— Гони в город! Там найдут на тебя управу!

Бабушка Минзифа и сама не могла понять, как еще душа в ней держится. «Видать, настал мой час,— думала она,— пришла пора помирать...» Конечно, вместе с Низами прикончат и ее. Сомнений в этом не было. Знать, ездила за своей смертью... И старушка снова принялась читать молитву.

Город был уже совсем близко. Внезапно перед ними возникли еще двое вооруженных людей. Снова винтовки, штыки! Снова обыск! Сидевший в санях вооруженный татарин попробовал протестовать:

— Что возиться напрасно? Обыскали уже.

Те все-таки решили проверить.

— Что-то бабушка толста больно! — Они расстегнули старушке бешмет, один ткнул ее покрепче в живот и раздавил яйцо.

— Э, бабушка, есть, значит, кое-что и у тебя! — Обы-

скав Минзифу пооснователньней, они вытащили у нее мясо, масло, яйца. Взамен сунули ей в руки еще один квиток. Однако бабушка Минзифа отнеслась к этой потере довольно спокойно,— не до масла и не до яиц было ей теперь. Старухе мерещился каменный каземат и высокая стена, к которой приставят ее, чтобы расстрелять. Так, полуживая, доехала она до города. На одном из перекрестков лошадь остановили.

— Слезай, бабка! — сказал сидевший рядом в санях татарин с винтовкой.

Старуха оцепенела от ужаса. Душа ее, как говорится, в ладошке, наверное, и трепыхалась только. Из памяти сразу улетучились слова молитвы, той самой, которую она денно и нощно повторяла десятки лет. Как ни старалась, не могла вспомнить...

— Иа, аллах, пропала я! Неужто без молитвы преставлюсь...— бормотала старуха, стоя посреди улицы. Колени у нее дрожали, голова кружилась. Зажмурившись, ожидала она неминуемого выстрела. Потом открыла глаза и успела увидеть лишь задок саней Низами, свернувших за угол. Никого вокруг не было. Ни спекулянта, ни татарина с винтовкой — она одна с бумажками в руке.

Не расстреляли! Старуха стала приходить в себя. Сжав в руке квитки, она что есть мочи пустилась бежать по улице.

Прибежав домой, Минзифа швырнула невестке в лицо скомканные бумажки.

— Вот, жри! Подавись! На смерть меня посылала, да не берет смерть, коли час не настал! — крикнула она исступленно и горько-горько заплакала. И Камали, и дети, и даже сама невестка от души жалели бабушку Минзифу. Невестка скорее вскипятила самовар, отрезала ей кусок от оставленного детишкам хлеба. Отогревшись, оттаяв сердцем, бабушка Минзифа долго рассказывала обо всем, что пережила, рассказывала подробно, по многу раз возвращаясь к тому, что особенно потрясло ее: говорила и о старике с пронзительным голосом, и о такбире, о коммунаре, которому удалось спастись, о молодом парне и об учителе, которых замучили до смерти, об оторванной голове...

Камали хоть и с трудом, но мог разбирать русские печатные буквы. После многих усилий он сумел прочесть

на квитанциях слова «Заградительный отряд». Больше он ничего не понял.

А бабушка, рассказывая о встречах с тем отрядом, уже почти и не вспоминала об отобранном у нее добре. Что там мука и масло, когда она сама чудом уцелела! И долго еще, недели и месяцы, удивляла она всех историей о своем трагическом путешествии в деревню.

XXIV

Ужас перед деревней навсегда вселился в душу бабушки Минзифы. Оттого старушка и противилась поездке в совхоз, когда об этом просила ее Мэриям-бикэ. Оттого она и после приезда сюда не находила себе покоя, жила в вечной тревоге.

Появление в совхозе Низами усугубило ее смятение. Ссора Фахри с Вали-баем вновь оживила прошлое. Пронзительный голос Гимади напомнил ей тот грозный такбир. Как же она не сообразила до сих пор? Ведь домулла, частый гость Вали-бая, тоже возглашал тогда такбир!.. В белой чалме!.. Точно он, вылитый! Седая борода, густой, чуть гнусавый голос... Или родичи они с тем муллой? Вот и Низами тоже. Ведь татарин с винтовкой должен был расстрелять его! Может, Низами удалось бежать? А может, это вовсе и не Низами, а просто похож на того человека? Но отчего, в таком случае, у них одно и то же имя? Тот же рост, та же походка и разговор тот же! Только полноват стал нынче, тогда он худее был. И седины в волосах прибавилось. Да и не мудрено, ведь уж сколько годов прошло. Жрет, небось, как свинья, вот и толстеет. Годы-то идут — недолго и поседеть. Но откуда он тут взялся? Непонятно!

И уж вовсе непонятно воскрешение Бирахмета. Ведь не во сне — наяву, у нее на глазах убили парня, привязали на аркане к рыжей лошади и волокли по деревне. Нынче он здесь вот, в совхозе. Только зовут его Шаяхмет, а за глаза: «Трактор-Шаяхмет».

Что бы все это значило? Или уж она помешалась от старости? И нет никого рядом, с кем бы поделиться, кому открыть тайну. Ведь не станешь спрашивать у самого Вали, еще рассердится, оборвет.

— Зачем тебе,— скажет,— старой, доискиваться всяких пустяков.

Вот и мучайся одна, изводись дни и ночи!

XXV

Ох, и надоели бабушке Минзифе эти проклятые мужики! Когда бы, где бы ни встретились, будто кобели, норовят вцепиться друг в друга. А уж этому трактористу Шаяхмету, видно, дьявол в рот плюнул: так и поддевает всех, так и поддевает. Сам в городе учится, а на побывку приедет — трактором управляет. Ловкий, говорят, парень. Нажмет там на что-то, и трактор бежит-урчит: нажмет на другое место — остановится как вкопанный. Ежели захочет, разберет трактор по частям и вмиг соберет обратно, оседлает его и едет — тарахтит...

И еще он болтает несусветное: нет, мол, ни бога, ни рая, ни ада и в небе все пусто!

Как-то бабушка Минзифа мыла возле колодца картошку, а этот парень-безбожник, ругаясь с Гимади, вошел во двор. Мужики, что сидели, толкуя о чем-то в дровянике, будто их только и дожидались, сразу подхватили. Не зря сказывают, дурная лошадь за жеребенком скачет! Что нужно этому Фахри?! Ведь мужчина в возрасте, а принял сторону Шаяхмета, у которого и молоко-то на губах не обсохло. У этих мужиков, если кто скажет «артель» или «коммуна» — все равно что в сухую солому зажженную спичку сунет,— так спор и вспыхнет. Испугалась бабка, что подерутся мужики, кровь прольют или зашибут кого, побежала к себе на кухню, стала оттуда слушать, о чем спор. Заметила Низами в брезентовом плаще, идущего в дровяник, и вздрогнула: «Этому-то чего недоставало? Суется тоже!»

Но Низами, видно, не был здесь чужаком. Увидев его, тракторист Шаяхмет крикнул:

— Что, Низами-абзы? Или в коммуну записаться надумал? Ведь артель-то утвердили!

Мужики заулыбались:

— Он надумает! Когда на осине яблоки созреют, тогда и Низами надумает вступить в коммуну!

— И тогда не вступит. Я, скажет, при чем, мало ли чего осина надумала! Так что ли, Низами-абзы?

Все рассмеялись. Низами был человек спокойный, толстокожий, не очень-то его проймешь насмешками. Он и сам засмеялся. Сняв каляпуш, вытер платком потную голову и вступил в разговор:

— Чего уж нам соваться? Кто был-то в коммуне, и тот не знал, как улизнуть!

— Эх, Низами!.. Пропащий ты, стало быть, человек!

— Отчего же пропащий! Вот пришел образумить таких, как Шаяхмет...

— Образумишь его!

— Нашел кого вразумлять!

— Давай, давай потолкуем! — задорно крикнул Шаяхмет.— Еще неизвестно, я ли образумлюсь или ты собьешься...

— А чего толковать-то? Вон Фахри, спроси, как они с коммуной в несколько месяцев проели всю усадьбу фон Келлера?! Спроси у него!

Вот так всегда. Стоит завести разговор об артели, коммуне, колхозе — тут же вспоминают коммуну «Уртак».

Помещик фон Келлер был обрусевшим немцем. В 1918 году он бежал из России. Большую часть его земель передали окрестным деревиям, а в усадьбе организовали коммуну. Назвали ее «Уртак». Времена в ту пору были тяжелые, опыта коммунарам не хватало. А тут еще — не успели развернуться как следует,— пришлось Фахри повести акташский отряд против наступавших чехов. Шангерей тоже недолго задержался в деревне: оправился от полученной прежде раны и снова ушел на фронт. Следом за ним пошли воевать против белых сыновья деда Джиханши Ахметша и Мухамметша. А между оставшимися начались бесконечные раздоры. Темные силы немало потрудились, чтобы развалить коммуну, внести разлад среди коммунаров. В это смутное время самые обычные бабьи дрязги начали принимать серьезный характер, взаимоотношения между коммунарами накалились до предела. Главной зачинщицей скандалов оказалась жена Шангерея Рагия. Была она женщиной больной, неуравновешенной, всегда что-нибудь молола всем наперекор. Один раз так задурила, что не помня себя, хватила соседскую бабу кочергой и выбила ей глаз. Какой-то молодке, которая пыталась удержать ее, вырвала клок волос, в кровь расцарапала лицо. По-

том, ругаясь и плача, собрала свои пожитки, побежала в деревню к родственнику Ситдыку. В эту же ночь случилась гроза, и от молнии загорелось все хозяйство коммуны. Бывшие помещичьи дома, надворные постройки — все сгорело дотла. Остались от них лишь вытянутые к небу печные трубы да обугленные столбы.

Мужчины, джигиты — почти все были на фронтах, заняться строительством оказалось некому. «Уртак» распался. Коммунарам не оставалось ничего другого, как искать приюта у родичей. Враги не скрывали своей радости, а старые люди по-своему истолковали пожар: «Не молния то, а божья кара!»

С тех пор прошло много лет, а враги при каждом удобном случае поминали «Уртак». Это и имел в виду Низами, когда предлагал спросить у Фахри о коммуне.

Но насмешка Низами будто и не задела Шаяхмета. Он нарочно громко расхохотался и продолжал наскакивать на Низами. Зато молчавший до этого Фахри не стерпел.

— Ты что одну и ту же жвачку жуешь? — сурово сказал он, взглянув на Низами.— Пора бы уж кончать с «Уртаком»!

— Да уж давно все кончено! Вы же сами и прикончили свой «Уртак»!

Довольный остротой, Низами хохотнул, поглаживая живот. Кое-кто угодливо захихикал.

— Не стыдно языком трепать?! — вспылил Фахри.— Как это мы?

— А то кто же? Неужто мы?

Фахри в ярости вскочил на ноги. Некоторым даже показалось, что он сейчас кинется на Низами. Но Фахри не ударил его.

— Вы, именно вы! — закричал он. — Воспользовались тем, что мы все были на фронте! Исподтишка действовали! Ваша рука там орудовала... А молния — это бабушкины сказки!.. «Уртак» подожгли такие, как вы!

— Ты думаешь, никто ничего не знает? — вмешался опять Шаяхмет. — Шила в мешке не утаишь!..

— Коли так, давай выкладывай! А то разорался! Не больно-то расходись!

— Чего мне расходиться?.. Рагия-апа сердцем больная — с нее какой спрос. Ее подстрекали, растравливали! Думаешь, люди не знают, куда ведут все нити?

— Говори, коли знаешь!

— От Рагии — к ее старшему брату Акбару, от Акбара к Ситдыку, от Ситдыка к Низами. От Низами — к Вали. А уж куда от Вали — к могиле Колчака или к эмигрантам, — это тебе лучше знать!

Тут уж будто огонь сунули в порох! У Низами на висках вздулись жилы, на лбу выступил холодный пот. Разъяренный, бросился он на Шаяхмета.

— Ты что болтаешь? Ты что болтаешь, сопляк?!

— Я знаю, что болтаю! Очень хорошо знаю!

— Кто больше знает, Советы или ты? Если так, почему Советы Вали Хасанова назначили первым спецом в совхоз «Хзмэт»? Или решил выше Советов прыгнуть? Завтра же сообщу в вашу ячейку про твои слова. Там тебе покажут! Больно распустился, не соображаешь, что несешь!..

Тут поднялась целая буря, взвихрилась, подхватила всех. Дело чуть не дошло до драки. Шумели, кричали, снова и снова возвращались к артели, коммуне, колхозу. Теперь уж и Гимади набрался духу.

— Ладно, пусть будет по-твоему, — наседал он на Шаяхмета. — Пусть коммуна хорошая. Но тогда скажи мне, почему в городе не живут коммуной? Почему там нет коммуны?

Вопрос этот был для Шаяхмета слишком неожидан. Он не знал, как отвечать. А Гимади продолжал свое:

— Чуть что, начинают нахваливать: «наш центр», «наша столица»! А почему, скажем, здесь не может быть ни центра, ни столицы?

— Почему не может, очень даже может быть!..

— Будет, держи карман!

— Чего болтать зря? Что мы, не знаем разве? Вот есть города — Питер, Москва, Казань...

— Ну, есть.

— Есть там люди, которые с самим Лениным вместе работали?

— Есть.

— Учились они жить у самого Ленина?

— Учились.

— Так. Теперь ты ответь мне: эти люди коммуной живут или врозь?

Утихший после давешней стычки, Низами вновь оживился.

— Ай-яй! Здорово ты поддел их, Гимади-абзы! — хихикнул он, потирая живот.

— Нет, ты скажи: сами-то они коммуной живут или врозь? — повторил Гимади свой вопрос.

— Ну, что ты путаешь? — разозлился Шаяхмет.— Вот, например, есть Путиловский завод. Там и тракторы делают. На этом заводе больше десяти тысяч рабочих, и все вместе трудятся. А как наши, деревенские? Есть у него поломанный плуг да хромая кобылка, он уж и воображает себя самостоятельным хозяином, мучается в одиночку, силы попусту тратит!

Низами ухмыльнулся:

— Что же ты на вопрос не отвечаешь? Десять, двадцать тысяч рабочих на заводе... Нашел чем удивить! И при царе Николае на больших заводах по десять — двадцать тысяч людей работало! Работают-то они сообща, а ты вот скажи, живут ли они сообща? Сообща ли тратят, что заработают? Или у каждого есть своя квартира, комната, отдельный котел, самовар, посуда своя, свой стол? Вот ведь об чем речь!

— Ты не путай коллективную работу с коллективной жизнью! Я же объясняю тебе: нельзя строить новую жизнь с кривым плугом и хромой кобылой, невозможно с ними идти к социализму...— Шаяхмет совсем было раскипятился, но Фахри остановил его.

— Вот ты толковый мужик! — обратился Низами к Фахри.— В войну на Путилове побывал. Скажи лучше прямо: ничего, мол, у нас не получается, надо, мол, все старое сжечь под корень... Будем мы строить артели, колхозы, коммуны...

Фахри рассмеялся:

— А я об этом и говорю! И комсомолец о том же толкует. Так у нас ничего не выйдет. С кривым плугом и хромой кобылой социализм не построишь. Для этого нужны машины, тракторы. Поодиночке их не купишь, да и не наработаешь с ними ничего в одиночку. Поэтому надо объединяться в артели.

— Нет, ты уж договаривай: не только, значит, работать, но и жить вместе, перину, постель иметь общую...

— И жены будут общие!

— И дети общие!..

Фахри, смеясь, махнул рукой:

— Да вовсе нет, не об этом идет разговор.

— Об чем же?

— Погодите, товарищи! Чего спорить, я лучше покажу вам!..

Фахри вышел на середину двора, за ним последовали остальные.

— Вон видите, — Фахри показал рукой на тянувшееся по косогору поле,— там пашни двадцати или тридцати хозяев. Делянки по десять, двадцать, от силы тридцать саженей. Земля вся располосована. Нам нужно раз навсегда отказаться от этих полос, от межей. Сообща, артелью обрабатывать весь массив машинами, трактором. Иначе мы никогда не покончим с нищенским существованием, с полуголодной жизнью...

Когда Фахри думал о будущих сельскохозяйственных артелях, ему казалось нетрудным доказать, что это единственно правильный путь для спасения от мук, от бед старой крестьянской жизни. В мыслях будущее рисовалось Фахри неотразимо прекрасным. Но он был не мастер говорить и не мог найти достаточно яркие слова, а потому невольно перешел к беспросветному прошлому, к извечной мужицкой нужде...

— Нельзя нам больше быть рабами старой жизни, нельзя прозябать в нищете!— говорил он, горячась и рассекая ладонью воздух, как делал всегда, когда спорил.— Потому и хотим мы объединиться в артель. Но неволить никого не станем, хочешь — вступай, не хочешь— не надо. Только верю я, настанет время, каждый, кто не кулак, обязательно придет к нам...

Бабушка Минзифа, слышавшая весь этот разговор, задумалась: «Не иначе как юродивый он. Повредили, видать, ему голову на войне, вот он и тронулся. Коммунию затеял строить. А там Рагия кому-то кочергой глаз выбила, руку сломала. Аллах наслал на них кару, молнией все дома сжег. Вконец ведь опозорились, разорились тогда. А этот Фахри до сих пор не образумился — куда ни пойдет, все про артель да про коммунию толкует. Истинно, коммунией бес его попутал. Оттого и юродивым сделался...»

Бабушка в молодости бывала в деревне, у родни мужа. Как-то появился там у них юродивый. Одет он был в зеленый чапан, на голове белая чалма, опирался на зеленый посох с железным концом. Называли его святой — суфи. Этот юродивый, лишь наступал

час намаза, бегал нз дома в дом, заставлял людей идти в мечеть. И с базара прогоиял мужиков молиться, даже сабантуй[1] однажды разогнал. Был он маленький, щупленький, а боялись его очень, слушалнсь. Как, бывало, появится он в деревне, в мечети места ие хватало...

Не похож ли Фахрн на того юродивого? Вроде бы и похож... да нет, нет... Тот носил чалму, чапан, на языке у него былн одни молнтвы да святые изречения, он наставлял людей на путь божий. Недаром же звали его святой — суфи. А этот? Сам огромиый, руки в мозолях. Ни в лице, ии в глазах нет никакого благочестия, смотрит будто насквозь тебя пронзает. На ногах сапоги, в руках газета, и иа языке всякое несусветное! Богохульничает. Зиай твердит про артель да коммунию... Нет, нет, боже упасн, нисколько ои не похож на того юродивого... Тот нстиино был святой, а этот — собака собакой!

XXVI

Весть об окровавленном бешмете вмиг дошла до пристанн. Оттуда, основательно раздутая, понеслась она по берегу Волги и быстрее быстрого ветра в тот же день, в тот же час достнгла Байрака, а там по узкой тропке, что тянется вдоль берега, попала в совхоз «Хзмэт».

Для старухи Миизифы эта весть была все равно что гром среди ясного иеба. Всю жнзиь боялась она крови, боялась покойннков. А после поездки в голодный год в деревию, когда на глазах у нее убили человека, этот страх превратнлся в какую-то болезиь.

Не стало Фахрн. А ведь еще недавно ои уговаривал крестьяи идтн в артель, грызся с Низамн и Вали-баем. А вот теперь нашли бешмет бая, н на нем — кровь убитого. Правда, стало быть, что арестовали Вали-бая, что сндит ои вместе с Гнмадн н Ахми, закованный в цепи, в каменном каземате под стражей...

Не зря протнвилось ее сердце поездке в деревню. Невестка злоехндная настояла: прнвыкнешь, мол, поиравнтся. Уж если не лежит душа — так не лежнт. Только и ждала бабушка случая, чтобы уехать, все плакала,

[1] Сабантуй — народный праздник, гулянье.

молила аллаха помочь вырваться отсюда. От вести об окровавлеииом бешмете будто перевериуло ее всю. «Нет, иет,— твердила оиа себе.— Нет у меия больше сил, ии одиой мииуты не остаиусь здесь, в кровище!..»

В каком-то животиом страхе стала старуха собирать свои вещи, посовала их в мешок, что ие влезло, увязала в узел и, точио от чумы, кинулась вои из дома. У высоких ворот, возле бывшего барского въезда она задержалась, осмотрелась кругом и, видя, что иет иикого поблизости, выиула из потайиого кармаиа две ладаики — кусочки высушеииой брюшииы, в одиу из которых были завернуты щепотка соли, корочка хлеба, лоскут старой тряпки, в другую — два волоса, чериый и белый, четыре ногтя с правой руки, четыре иогтя с левой ноги...

Молясь и оглядываясь по сторонам, старуха подошла к восточиому углу дома, быстро закопала ладанки, семь раз плюиула на это место и без оглядки побежала к тропиике, ведущей в Байрак.

Баба, которая рассказывала ей о бешмете, упомянула и о том, что в деревню приехал иачальиик из волости Шакир Рамазаиов. К иему и поспешила сейчас Минзифа, чтобы покаяться в своих грехах.

Запыхавшись, охая и стеная, прибежала бабушка Миизифа в Байрак. Ей повезло: посредиие улицы возле запряженной лошади стоял городской человек, разговаривая с двумя мужиками. Словио безумиая, бросилась старуха к иему и, развязав мешок, иачала с криком выбрасывать из иего вещи.

— На! На! На! — иступлеиио повторяла оиа.— Вот старая шаль!.. Еще просил богу за него помолиться... Вот атласиый камзол, порваиный... Небось Мэриям-бикэ сама лет сорок его носила. Как стал иегодиым, так мие суиули, бери, дескать, подарок! Вот еще! Все забирай!.. Пропади оии пропадом со своими подарками!..

Ругаясь, кляия все иа свете, старуха иабросала у иог Рамазаиова целую кучу тряпья. Тот ие зиал даже, сердиться ему или смеяться:

— Что с тобой, бабушка? Зачем ты мне приволокла все это?

Старуха смотрела на иего ошалелыми глазами:

— Кому же, как не тебе?! Ведь, говорят, ты тут начальиик у Советов!

Сбежались мальчишки. Подхватив палками валявшееся в дорожной пыли старье, они визжали и кричали, размахивая тряпками над головой.

Волисполкомовский хромой мерин испугался, шарахнулся и чуть не опрокинул тарантас. Собравшиеся на улице начали смеяться. Не до смеху было только Минзифе. Не обращая внимания на крики мальчишек, сбиваясь и путаясь, она принялась выкладывать Шакиру все, что знала, что видела. Не преминула осыпать проклятьями невесту, заявив, что ее, старуху, выпроводили в совхоз силой.

— Душа у меня застыла! — закончила она свой рассказ.— Хоть убейте, не вернусь туда больше!

Из исповеди бабушки Минзифы выяснилось следующее.

Придурок Ахми, который вечно жаловался на безденежье, неделю тому назад дал ей на хранение двадцать рублей. «Боюсь потерять, пускай до приезда матери у тебя лежат»,— сказал он.

В ночь, когда исчез Фахри, Гимади дома не было, он вернулся только на рассвете, и очень усталый. Утром обнаружилось, что пропал шкворень от телеги с водовозной бочкой. Наскоро смастерили деревянный.

Все это было новым в деле Фахри. Рамазанов, посоветовавшись с Шангереем, решил немедленно отправить старуху в город к следователю.

— Отчего ты не открыла это Паларусову, бабушка? — спросил он.

Старуха испугалась. «Ох, пропала я... Недаром говорят, болтливый от языка своего сгибнет... И зачем мне было рассказывать...» — горестно подумала она и пробормотала, глядя на Рамазанова:

— Старость одолела, сынок, старость!.. Ослабла у меня голова, худая стала память-то... — И тут же понесла: — Он небось рот мне хотел заткнуть: чтоб не болтала старуха лишнего, чтоб глаза ее ничего не видели, чтоб уши ее ничего не слышали! Для того небось и давал мне свои обноски... Не нужно мне, не нужно! Все здесь, ничего не утаила, сынок, делайте с ними что хотите!..

— Бабушка, а что делал в последнюю неделю Ахми? — перебил ее Шангерей.

— А что ему делать, пил все! Утро ли, вечер, день ли, ночь — пил да пил...

— А деньги где брал?

— Кто его знает, сынок. Врать не буду. Скажу, что видела: за последние дни Ахми вовсе стыд потерял. Сам на ногах еле стоит, опух весь, глаза налились кровью. Придет, шатается, и — прямо к косому Гимади или к самому Вали-баю. Просит: дай денег!

— И давали?

— Ругались, но давали. В последний, мол, раз, больше не приставай. А тот — деньги в карман, буркнет, что не будет, мол, больше просить и уйдет. А на другой день опять тащится, опять просит. Дадут ему денег, отругают... И так каждый день...

В это время в переулке напротив, ведущем к садам и огородам, показалась Гайшэ.

Крестьяне Байрака, когда они жили в Акташе, не имели представления о разведении овощей, выращивании ягод, плодов, о рыбной ловле. Жизнь на берегу Волги научила их всему этому. Мужчины в первую же весну обзавелись лодками, снастями и, чуть выпадало свободное время, прихватывали, что нужно, даже жестянки с кизяком, чтобы жечь — спасаться дымом от комаров, и отправлялись на всю ночь на Волгу. Женщины же увлекались садами. Быстро разрослись у них вишни, малина. Учась у соседей-старожилов, посадили они яблони, с тревогой, с надеждой следили за молодыми деревцами, а нынче ожидали уже первых яблок.

Яблони зацвели в конце мая. В буйном белом цветении стояли деревья, словно приглашая всех полюбоваться на них, одетых в весенний наряд. Крестьяне Байрака в жизни не видели подобной красоты и первый день цветения садов встретили как радостный праздник, дарованный им природой. Оттого, наверное, и работали в саду с охотой, с любовью.

Гайшэ тоже любила копаться в своем маленьком саду. Сколько бы она ни возилась там, никогда не уставала, возвращалась домой, точно набравшись сил, бодрая, свежая. Вот и сегодня она одиннадцать раз спускалась по крутой тропинке вниз к Волге, одиннадцать раз поднимала на коромысле воду, полила все посадки, взрыхлила землю. Работала Гайшэ и думала о муже. Любоваться бы ей на молодую зелень, на цветы, но глаза за-

стилали слезы. Чтобы забыться, она трудилась, не разгибая спины, даже не вспомнив, что голодна, что ушла из дому с рассветом и не поела. Она бы работала еще долгое время, но ее окликнул сынишка Самат:

— Мама, иди скорей!.. Шакир-абзы приехал, тебя зовет!..

Гайшэ подхватила ведра, коромысло, лопату и поспешила домой.

XXVII

Неподалеку от своей избы Гайшэ увидела знакомую волисполкомовскую упряжку. Тут же стояли Шакир Рамазанов, Шангерей, старуха Минзифа из совхоза. Вокруг них вертелись, сновали шумливые мальчишки. Гайшэ — в лаптях, в платье с засученными рукавами, в линялом красном платке — подошла, вытирая руки о передник, поздоровалась с Шакиром и, чуть усмехнувшись, сказала будто в шутку:

— И ты наконец показался в Байраке!

— А как же: ведь здесь у нас есть и партийная ячейка и комсомольская... — ответил Рамазанов и поторопился добавить: — Мне поручили узнать, как ты живешь, не нуждаешься ли в чем-нибудь? Если что, поможем по силе возможности...

В групповой борьбе среди коммунистов волости Шакир Рамазанов всегда занимал позицию противников Фахри. И на последних выборах он, кажется, немало постарался, чтобы вывести Фахри из членов исполкома. Гайшэ хорошо знала это, и, когда Шакир заговорил с ней о помощи, волна горечи поднялась у нее в душе.

«При жизни травили, а теперь вспомнили!» — хотелось ей резко бросить в лицо Шакиру, но она сдержалась и, чтобы переменить разговор, спросила, показывая на валявшиеся около телеги тряпки:

— А это что такое?

Шангерей, посмеиваясь, коротко объяснил ей все. Рамазанов взял из тарантаса портфель и, повернувшись к старухе, сказал:

— Ты жди меня здесь, бабушка. Поедешь со мной в волость. Там кое-кто в город собирался, с ними и отправишься. В городе тебя допросят.

— Ладно, сынок, ладно, — голосом обреченного чело-

века промолвила старуха и стала собирать разбросанные вещи.

Шакир, Гайшэ и Шангерей вошли в дом.

— Я сейчас самовар поставлю. Пока закипит, стерлядки пожарю. Вчера Шангерей-абзы принес... Она у меня еще живая...— И, не обращая внимания на протесты гостей, Гайшэ захлопотала у стоявшего на шестке таганка.

В избе у нее было по-прежнему чисто прибрано. Ничего в ней не изменилось. Только на стене, возле книжной полки, появилась карточка Фахри, снятая на фронте, и резче выделялись вырезанные на столешнице буквы. Видно, мальчишки, оставаясь дома одни, продолжали трудиться над своими письменами.

Возясь с самоваром, накрывая на стол, Гайшэ рассказывала Шакиру о последних новостях.

Арест Садыка вызвал сильное возмущение крестьян Байрака. Они накинулись на Шангерея: «На нас, мол, умеешь кричать, а когда надо, от тебя ни на грош толку!»

Дед Джиханша тоже долго ругал Шангерея, стуча оземь палкой, потом запряг лошадь и поехал в Акташ. Там еще остались люди, которые в те давние времена выпивали вместе с Фахри и Садыком и помнят драку, в которой рассекли Садыку лоб. Дед разыскал семь человек, растолковал им, что нужно спасать кочегара.

— Поехать-то мы поедем... А дорогу кто нам оплатит? — сказали мужики.

На обратном пути дед Джиханша встретил знакомого кряшена. Они разговорились. Оказывается, кряшен тогда вечером столкнулся с Садыком и Фахри у старого дуба.

— Садык,— сказал он,— вернулся в Байрак, а Фахри сел ко мне в телегу, и я подвез его в совхоз.

Это был совершенно новый и важный факт для дела Садыка. Дед Джиханша так и уцепился за кряшена:

— Кочегар наш человек! Нельзя не помочь ему. Поезжай к следователю!

Кряшен не отказывался: «Пускай допрашивают, мне-то что, только как с дорогой...»

В довершение всего интересную вещь сообщили ребятишки. Оказывается, собравшись на улице, чтобы пойти в совхоз посмотреть на трактор, они видели, как старый Гимади украдкой поднял с земли железный шкворень, сунул его в рукав и пошел дальше. Занятые игра-

ми, ребятишки совсем забыли об этом и лишь теперь, когда повсюду слышалось одно и то же слово «шкворень», вспомнили про тот случай.

Сообщили Паларусову. Гайшэ сама возила на допрос в город двух пионеров, старика кряшена и двух мужиков, знающих историю со шрамом, и только вчера вернулась домой. Поставив на стол вскипевший самовар, рыбу, налив всем чаю, Гайшэ достала с полки большой запечатанный конверт:

— Чуть не забыла... Это тебе, Шакир. Шарафи послал...

Шарафи сообщал в письме еще одну новость. В преступлении оказались замешанными Иванов и Салахиев. В их деле фигурировала какая-то женщина. Неведомыми нитями притянулась сюда и четвертая жена расстрелянного ишана Габдуллы.

— Шарафи и мне рассказывал о ней,— подтвердила Гайшэ.— Младшая жена ишана Каримэ, когда расстреляли ее мужа, оказывается, расспрашивала всех: «Где тот человек, который расстрелял его? Я бы ноги ему поцеловала!» Когда же до нее дошла весть об аресте Садыка, она лишилась покоя. «Он меня из ада вызволил! Я пойду в свидетельницы, я спасу его!» — шумела она и потащила в город к Паларусову даже хромого мужа.

Чай был выпит, рыба съедена... Разговор давно уже перешел на деревенские дела.

— У нас тут такая подчас начинается заваруха, что перед беспартийными неловко,— как бы вскользь заметила Гайшэ.

Шакир не понял ее намека.

— Могла бы и не выносить сора из избы,— хмуро бросил Шангерей и, обращаясь к Шакиру, сказал: — Посоветоваться надо с тобой. После того разнесчастного «Уртака» жена моя совсем больная стала... Как услышит слова «коммуна» или «артель», начинает беситься...

— Что же это она?

— Ругается, в драку лезет... Как покойный Фахри начал артель создавать, она совсем свихнулась. По ночам во сне кричит, днем со мной ругается, вещи колотит. «Хоть вешай, орет, хоть режь, не пойду в коммуну!» Я ей объясняю, что у нас будет артель, а не коммуна, что никуда мы не переедем, останемся жить, как жили, только

работать будем вместе. А она знай свое!.. Вчера смотрю сложила вещи, детей одела и собралась уйти со двора. «Куда это ты!» — спрашиваю. «К брату, говорит, старшему». — «Зачем?» — «Ты, говорит, в коммуну записался, развожусь я с тобой». Ну, что прикажешь делать, блажная... Затащил ее силой в дом. И опять шум, ругань... Главное, перед народом стыдно! — Шангерей растерянно посмотрел на Шакира и добавил: — А работы я не боюсь, выдюжу...

Организация артели, которую должен был возглавлять Фахри, теперь ложилась на плечи Шангерея, и — что греха таить — его пугали не только семейные неурядицы, но и отсутствие знаний. Скоро в волисполкоме нужно делать доклад о выполнении весеннего сева. Мысль о докладе не давала Шангерею покоя ни днем, ни ночью. И он решил сейчас воспользоваться случаем и получить помощь от Рамазанова. Наиболее трудной частью доклада был для него вопрос о засеве наделов семей красноармейцев и бедняков. Просто, в порядке отчетов, говорить об этом было несложно, но чтобы развивать политическую сторону вопроса, у Шангерея действительно не хватало знаний. Подведя беседу к этому, он как бы мимоходом высказал заведомо неверную мысль. Шакир принял это за истинное мнение Шангерея и стал поправлять его. Тогда Шангерею стало неловко за свой маневр, и он откровенно признался, что схитрил:

— Не ладится у меня никак. Боюсь, не справлюсь с докладом.

Рамазанову понравилась такая откровенность. И он охотно разобрал с Шангереем материалы его будущего доклада. У Шангерея точно туман рассеялся перед глазами, точно расставили на его пути вехи, и он уже не боялся, что споткнется. Когда у них снова возник разговор о колхозах, Шангерей с крестьянской деловитостью остановил Шакира:

— Слов лишних не надо. Нам нужна помощь делом. Будет такая помощь, у нас все как по маслу покатится.

— А что вам нужно? Говори!

— Что нужно? Машины! Кредиты! Крестьяне теперь сами требуют: «Давай машины, тракторы, дай кредиты, научи хозяйствовать!» Ежели будет все это, артели и коммуны тоже будут. Кулаки тогда места себе не найдут... Вот о чем надо нам теперь заботиться!

XXVIII

На севере, на самом краешке неба, появилось легкое белое облачко. Потом — другое. Оно было больше, грузнее и притянуло за собой целый косяк облаков и вскоре, вздыбясь сплошной пушистой грядой, поползло по ясной сини неба.

Поднялся ветер.

Белые причудливые облака стали иссиня-черными и, клубясь, устремились к Волге. Тяжелые, косматые, они заслонили солнце, закрыли все небо. Свет, еще недавно озарявший землю, словно спугнутый тучами, исчез. И земля, и низко нависшее над нею клокочущее небо, казалось, слились в окутавшем их мраке. Глухо, точно где-то далеко рушились каменные громады гор, прогремел гром. Гулкие его раскаты все приближались. Между Волгой и тучами, над берегами заметались огненные извивы молний. Закачались деревья, даже вековечный дуб на крутом яру заскрипел, заскрежетал... Оттого ли что был он древен, высок и могуч, только ни один человек не осмеливался коснуться его ствола ни пилой, ни топором. Но молнии не посчитались ни с чем. Пронесся ураганный вихрь, закружился над оврагом Яманкул и со страшной силой опрокинулся на высившийся одиноко дуб, взметнув вокруг него густое облако песка и пыли. В тот же миг раздался оглушительный грохот, и молнии, плясавшие над взлохмаченной волнами рекой, огненной плетью захлестнули могучий дуб от корня до самой кроны и, вырвав, бросили его, опаленный, поперек оврага. И тут же все затихло. Сразив вековечный дуб — будто для того лишь и затеяли они огненную игру,— и громы, и молнии, и ветры перекатились дальше, за Волгу... А небо, затянутое набухшим грузным пологом туч, разверзлось обильным дождем. Поля и луга, горы, леса, равнины подставили грудь небу и насыщались благодатной влагой.

Уже три недели на Волге не было дождей. Изжаждалась вся природа. Цветы, травы, листья склонились перед небом, моля у него хоть каплю воды.

Чудесно взошедшие с весны, колыхавшиеся густой зеленью хлеба стали желтеть, земля сохла, выбивалась в пыль, трескалась. Крестьяне, которые весь май радовались щедрости земли и тешили себя надеждой на сытый год, видя, как расщелились поля, как выжелтело

посевы, затревожились. Грозные, снова подступили к сердцу деревни воспоминания о годах засухи, недорода, голодных смертей.

Появление на небе первых далеких туч встретили с робкой надеждой. Тучи разрастались, густели,— вместе с ними росла и надежда. А когда с той же стороны, откуда выплыли тучи, подул ветер и погнал их к Волге, все оживились. Где бы кто ни был — в поле, на реке, на гумне, в доме,— каждый, волнуясь, следил: «Куда гонит? Не обойдут ли стороной?» И чем больше громоздилось на небе туч, чем ближе они надвигались, тем радостнее становились лица. Закружил над Волгой ураган, взрокотали громы, заиграли зловещим огнем молнии — вырвали с корнем могучий, древний дуб. А люди, будто и не замечали ничего, не сводя глаз, беспокойно смотрели на тучи: «Неужто минуют нас, неужто обездолят?»

Но вот огни и громы, побушевав, двинулись дальше на Каму, на Урал. Небо густо заволокло тучами, хлынул дождь. И вздохнули тогда крестьяне с облегчением, обрели вновь покой...

Гайшэ, Шангерей да и Шакир тоже были крестьяне, и с малолетства привыкли мерить дождем и горе свое и радость. Только были они из тех, кому приходилось тянуть тяжелый груз работы молодых Советов, и потому сейчас, когда они, как и все крестьяне, волнуясь, следили за движением облаков и туч, радовались безмерно дождю, беспокойная билась в них мысль:

«Когда же освободимся мы от этой заботы?.. Доколе судьба деревни будет зависеть от капли, дарованной небом? Когда получит деревня новую технику?»

Дождь лил долго. Хромой мерин с явным удовольствием стоял под тяжелыми струями дождя, подрагивая боками. Ехать в такой ливень было невозможно. Старуха Минзифа, которую Гайшэ позвала пить чай, сидела притихшая у самовара. Шакир с Шангереем вели нескончаемую беседу о делах. Шангерей решил воспользоваться задержкой Шакира и, вынув тетрадку с заметками, которые только сам и мог разобрать, забросал его вопросами. И, слушая ответы Шакира, его советы, чувствовал, как все проясняется перед ним и не кажется уже таким сложным.

«Эх,— сокрушенно думал он,— подучиться бы мне малость. Тогда бы я все на свете перевернул!»

Наконец дождь кончился. Тучи рассеялись. В небе снова ярко засветило солнце. Мальчишки с шумом, с криком высыпали на улицу, зашлепали по лужам. Жизнь, казалось, возродилась заново. Все ожило вокруг. Россыпью капель засверкали на солнце чаши цветов, листья трав и деревьев, омытых благодатным дождем. Всех потянуло на улицу подышать свежим, словно бы напоенным радостью воздухом.

Шакиру пора было уезжать. Подправляя на лошади взмокшую сбрую, он с улыбкой сказал Шангерею и Гайшэ:

— Об этом вам на исполкоме должны были сказать, но, так и быть, откроюсь. На место арестованного кожевника Вали, вероятно, поставят Сафу Гильманова из исполкома. Он разбирается в агрономии и вопросами экономики занимается давно. А тебе, Шангерей, придется надеть хомут Сафы... На место же Шангерея ячейка полагает выдвинуть тебя,— он повернулся к Гайшэ.

— Я человек неученый...— запротестовал Шангерей.— Не справлюсь! Дайте хоть пару лет в Байраке поработать...

Гайшэ не отказалась наотрез, но тоже заупрямилась:

— А детей куда мне пристроить?.. Потерпеть надо до осени.

Шакир только пожал плечами:

— Решение не мое, волкома.

И он объяснил, что спорить тут бесполезно, что придется им взять на себя эту новую и ответственную работу — одному в волисполкоме, другой — в сельсовете. Оставив Гайшэ и Шангерея в полном замешательстве, Шакир подсадил в тарантас вцепившуюся в свои мешки Минзифу, уселся сам и взмахнул вожжами. Лошадь тронулась и, прихрамывая, разбрызгивая воду в лужах, затрусила к околице.

XXIX

Бабушка Минзифа сидела рядом с Шакиром в тарантасе и робко поглядывала на него: «И куда везет? Не посадил бы за решетку!»

И в волисполкоме, где она, как на грех, столкнулась с вооруженным человеком, и по дороге на пристань, и

потом на пароходе сердце у бабушки Минзифы то и дело замирало от страха. Ведь в городе ее ожидал допрос следователя.

«Пропала я! — с тоской думала старушка. — Ты, скажут, валиевская приспешница! Запрут они меня в каталажку!..»

В городе бабушку Минзифу прямо с пристани повезли к Паларусову. Еле живая вошла она к нему в камеру. Но встретили ее там добрым словом. «Садись, сказали, бабушка!» И сказали на ее родном языке!

Допрашивали ее тоже на татарском языке. А какой-то джигит все ее слова так на татарском и записывал. Старушка немного успокоилась.

«Свои, кажись, люди... Не станут они из-за пустяков старуху губить».

Расспрашивали ее долго, очень долго. А как записали ее ответы, сказали:

— Все, бабушка! Спасибо! Можешь идти домой... Скоро будет суд. Ты смотри не забудь, что говорила. Будешь на суде свидетельницей.

— А там по-мусульмански будут спрашивать?

— Да, бабушка, по-татарски,— ответил джигит-секретарь.

— И я по-мусульмански буду отвечать?

— Да, бабушка, по-татарски!

— Ладно, сынок. По-татарски и по-мусульмански все одно значит — по-нашему?

— Именно так, бабушка, по-нашему!

Успокоенная бабушка Минзифа не знала, как выразить свою признательность. Повторяя слова благодарности, кланяясь и пятясь, она наконец вышла и побежала к себе домой. В городе все было по-старому. Вон двухэтажный каменный дом. Желтые ворота, а за ними дверь в подвальный этаж. Кто-то вышел из двери. Уж не ее ли сын Камали со своим приятелем? Они!..

Увидев бабушку с узлами, те застыли от изумления.

— Бабушка Минзифа! — воскликнул Джамали, улыбаясь во весь рот.— Вернулась-таки?!

— И не говори, сын мой! Видно, еще не кончился отпущенный мне аллахом срок. От смерти спаслась!

Втроем вошли в дом. Внучата соскучились по бабушке, с криком кинулись ей на шею:

— Бабушка!.. Бабушка!..

За долгую разлуку и у невестки улеглись в душе обиды на свекровь. Приветливо расспросив ее о здоровье, она проворно поставила самовар. За чаем старуха совсем оживилась и как пошла рассказывать, рассказывать... Когда она заговорила об окровавленном бешмете, Джамали, самодовольно ухмыльнувшись, вставил:

— А знаешь? Бешмет-то ведь я отыскал!

Но старуха и не слышала его.

— Беда, что там творится! — продолжала она. — Недаром в старину говорили: «Деревню хвали, в городе живи...» Там, куда ни глянешь — везде убийство, везде кровь...

Точно вновь переживая все ужасы, сама страшась того, о чем говорила, Минзифа поведала о Гимади, Низами, трактористе Шаяхмете и недоуменно спросила:

— И как же это получилось? Ведь похожи как две капли воды?

Камали засмеялся:

— Похожи, говоришь, мамаша?

— Да уж так похожи, сынок!.. Все похожи... Будто две капли воды. И хазрет — ну прямо вылитый...

Камали, смеясь, прервал ее:

— А ты вспомни-ка: в голодный год ты куда ездила, в Шелангу?

— Да.

— После Шеланги проезжали маленькую деревню?

— Проезжали.

— А за нею лесок, потом взгорок... После взгорка уже большая деревня. Останавливались вы там?

— Останавливались.

— Это и есть Акташ. Там ты слышала такбир? Там убили комсомольца и учителя?

— Там.

— Ну, вот, теперешние байраковцы все из Акташа. Они недавно переселились на Волгу. И Гимади оттуда. Фахри, Шангерей — тоже.

— А хазрет с Низами как туда попали?

— Хазрет в те времена в Акташе жил, потом в город переехал, там небось и сдружился с Вали-баем.

Кажется, сны старухи превращались в явь, бред — в действительность.

— Ну, а насчет «Трактора-Шаяхмета» что скажешь?

— Тут уж дело другое. Бирахмет, которого тогда, во

время восстания, убили кулаки, был старшим братом Шаяхмета... Они и в самом деле как две капли воды походили друг на друга.

Старуха только головой покачивала от удивления:

— Ситдык-то наш как в Байрак затесался? Он ведь из Шелаиги.

— Попросился к ним, его и приняли...

— Ситдык ведь вроде сродни Вали-баю?

— Да как сказать... Жену Шаигерея Рагию знаешь? Вот старший брат Рагии Акбар женат на сестре Ситдыка. Дочь Ситдыка замужем за Низами. Старшая сестра Низами, которая утопла, и жена Вали-бая Мэриямбикэ были близкие сватьи.

У Минзифы опять стало путаться в голове:

— А Рагия — это какая? Что «Уртак» спалила?

— Да не спалила она! Глаз вышибла одной бабе, другой волосы выдрала, кому-то еще руку сломала — это правда. А палить — не палила. В ту ночь гроза была сильная. От молнии и сгорел «Уртак». А некоторые говорят, что кулаки его подожгли...

— Иа, аллах! Откуда ты, Камали, знаешь все это?

— Как же не знать? Теперь только о них и толкуют везде... У нас на татарском базаре ничего другого не услышишь... И в газетах, сказывают, про то же пишут. Скоро суд будет!

— Шаигерей, стало быть, и нам близким родственником приходится?

Камали засмеялся:

— Уж куда ближе!.. Как говорится, под одним мостом рядом... садились!

Разговаривать дальше Камали было некогда; сославшись на срочное дело, они с Джамали ушли.

XXX

Их пригласил Сираджи — и как будто бы по серьезному делу. Сваты поспешили на знакомую улицу. Вот высокий дом. Как всегда, взгляд их притянули зеленокрасные витки букв на вывеске «Пивная». Они вошли в почти пустой зал, прошли мимо свободных еще мраморных столиков, мимо вытянувшего отверстую пасть граммофона в следующий, малый зал.

Там было занято всего два стола. За одним сидели

три печатника — в синих блузах, с серыми от свинцовой пыли лицами. С метранпажем Шамси Гайнетдиновым Джамали был знаком давно. Во время наступления чехов он два дня скрывался в квартире Джамали. Гайнетдинов встретил Джамали широкой улыбкой. За другим столом, близко склонившись друг к други, сидели Сираджи, сын Вали-бая Мустафа и шелангинский кооператор Низами. Завидев двух неразлучных приятелей, Сираджи открыл было рот, чтобы позвать их, но Джамали постеснялся при печатниках, особенно при Гайнетдинове, подсесть к ним. Они с Камали заняли свободный стол и, как ни в чем не бывало, начали перекидываться словами с соседями.

Сираджи это не понравилось. Он пригласил Джамали и Камали, чтобы посоветоваться по важному делу. А они, дурни, будто в жизни не видели типографщиков, разговоры затеяли! Сираджи все ждал, не уйдут ли те, но они, судя по всему, не торопились. Сираджи переглянулся со студентом и Низами, что-то шепнул им, и все трое поднялись. Проходя мимо Камали, Сираджи сказал ему:

— Ты, Камали-абзы, зайди вечерком ко мне. Дело есть.

Молодой наборщик Галяу повел краешком глаза на уходящих и, усмехнувшись, свистнул им вслед. Джамали тут же подхватил бутылки, и они с Камали пересели к печатникам.

Разговор шел о Садыке. Гайнетдинов знал его смолоду.

— Мы с ним, можно сказать, вместе росли,— рассказывал он.— Пить он пил, но и дело делал. Сколько он в тюрьмах отсидел! А высылали его сколько! Подхватит, бывало, свой потрепанный «Капитал» и едет. Ему бы русский знать получше, он бы тогда горы своротил!

Джамали удивленно уставился на него:

— Да неужто он по-русски говорить не умеет?

— Как это — не умеет, доклады делает...

— Чего же еще надо?

— Да видишь ли, по-татарски-то он крепко выступает, с перцем, с солью, как говорится. А по-русски не так...

Шамси взглянул на часы:

— Ого, товарищи, пошли!

— Куда? — схватился за него Джамали.— Куда спешите? Выпьем еще!

Метранпаж засмеялся:

— От пива бы никто не отказался, да времени нет!

— Какое там время!— Джамали не унимался.— Я угощаю! Засыпался Вали-бай. Выпьем по этому случаю! Эй, официант, неси полдюжины!

Бутылки выстроились на столе. Снова появились горох, сухари, копченая рыба... Но печатники торопились. Выпили наспех по кружке и поднялись. Джамали стал упрашивать их, потребовал принести еще пива. Те, на ходу застегивая пальто, опрокинули еще по одной. Джамали стало досадно. «Нас и за людей не считают!..» — подумал он и сказал с плохо скрытой обидой:

— Что же это вы! Гордитесь, что пролетарии? Так ведь и я не спекулянт, не буржуй, такой же, как и вы, трудовой человек!

И тут же угодливо захихикал. Всю жизнь привык Джамали бояться русских начальников, баев, был вынужден заискивать перед всеми, угождать каждому, и эта приниженность вошла в плоть его и кровь, проскальзывала в улыбке, в голосе. И сейчас, уговаривая метранпажа и наборщиков, он так подобострастно хихикал, что Гайнетдинову стало жалко его.

— Зря ты обижаешься! Ведь нас работа ждет. Машины, газеты. Тысячи подписчиков!.. Газету надо выпустить в срок. У нас не только часы, минуты считанные!

Распрощавшись, они ушли. Джамали был очень огорчен. Ему так хотелось посидеть с ними, поговорить. Он помнил, что рассказывали, будто Гайнетдинов, когда еще работал в профсовете, ездил обследовать совхоз «Хэмэт», а Салахиев будто бы ругал его на собрании за то, что не понимает, мол, он установки Ленина насчет спецов и хочет подорвать образцовый совхоз.

А теперь Салахиев арестован. Как подумаешь, голова кругом идет. Ведь толков-то сколько! Вот Джамали и хотелось расспросить обо всем у Гайнетдинова. Жаль, не удалось...

— Помилуй бог, трудно человеку, который по часам

работает! — закончил он вслух свои размышления.— У нас благодать: хочешь — ложись, хочешь — вставай. Захотел — работаешь, не захотел — нет. Сам себе хозяин. Верно, сват Камали?

Оплаченные пиво и закуску оставить было жалко. Стараясь прикончить все, сваты просидели в пивной дотемна и нагрузились основательно. Домой они ушли, поддерживая друг друга. Голову Джамали не переставала сверлить одна мысль: «Зачем приглашал нас Сираджи? Отчего он не поговорил с нами, а ушел из пивной?»

XXXI

Дома Джамали пришлось срочно приняться за шитье... Давно уже лежала у него работа, взятая в артели. И все ему было некогда, все мешало что-то. Уже дважды вызывали его, отругали как следует. Взяли с него слово, что в субботу непременно сдаст работу. Хорошо еще, что там сами забывали, какой назначили срок. Но разделаться было надо. Завтра последний день, а осталось немного: пришить к двадцати бешметам рукава и пуговицы. Ну и погладить малость.

Решив сегодня же закончить всю работу, Джамали взялся за дело очень ретиво. Вдев в иглу длинную нитку, он одним стежком закреплял пуговицу и бросал бешмет на саке:

— Ладно, сойдет для артели!

Брал другой бешмет и опять одним стежком закреплял на нем пуговицу и бросал туда же:

— Ничего, сойдет за ихнюю плату!

Так же наспех пристрачивал он рукава и складывал бешметы в кучу.

— Ладно! Для артели годится! Если кто и купит, все равно без переделки не носит.

Дело у Джамали шло быстро: рукава и пуговицы были уже пришиты, осталось только прогладить бешметы. Уж коли решено закончить нынче, значит, так и должно. И хотя хмель из головы у него еще не вышел, он бодро раскладывал на саке бешмет, слегка проводил утюгом по вороту, карманам, бортам и, приговаривая: «Все равно у них в лавках изомнется», вешал бешмет на гвоздь у двери.

В самый разгар работы постучались в дверь. Вошел милиционер с револьвером на боку:

— Вы будете Джамалетдин Зайнетдинов?

Джамали даже отшатнулся:

— Да, да! Мы!

— Можете расписаться?

— Постараемся.

Милиционер протянул ему бумажку:

— Распишитесь, что получили!

Это была повестка с вызовом Джамали в суд в качестве свидетеля по делу об убийстве Фахри. Милиционер ушел. Джамали долго вертел в руках бумажку. «Вот оно как! — думал он. — Значит, настал-таки час?!»

Он снова потянулся за утюгом, но ему так и не дали догладить. Кто-то вошел в комнату.

— Это ты, сват? — спросил Джамали, не оборачиваясь.— Проходи!

Но он ошибся. В дверях стояла жена Вали-бая Мэрням-бикэ.

Гостья была в добротном стеганом бешмете, сером пуховом платке, в вышитых ичигах, в руке держала большой узел. Джамали растерялся. В последние месяцы он не видел бикэ и едва узнал ее. Волосы у нее совсем поседели, глаза ввалились, щеки впали, она сгорбилась, высохла как-то. Переступив порог, старуха протянула вперед руку и немощным голосом сказала:

— Невестушка... Джамали... Дома вы? Что-то не разгляжу!

Хозяин робко взял ее за рукав, подвел к столу и, усаживая, сказал приниженно:

— Не обессудь, бикэ. Тесно живем. Квартир прежних нет. Времена-то советские...

Старуха подняла руку, помолилась:

— Да поможет нам аллах! Не на вас одних, на весь мир нашла беда! А где жена твоя Сафурá? Здорова она?

Джамали кинулся к двери, крикнул во двор:

— Мать! А мать! Где ты там? Иди скорее, гостья у нас! Мэрням-бикэ пожаловала.

Вбежала Сафура — невысокая, худенькая. Высохшее желтое лицо, покорный взгляд, сильно поношенное платье, линялый платок на голове — вся она была какая-то забитая, жалкая. С виноватой улыбкой подошла

она к гостье, протянула ей по старому обычаю обе руки, робко спросила о здоровье и схватилась скорее за самовар, думая про себя:

«Хорошо еще есть чем угостить... Есть и чай с сахаром, и ситный. Яблоки тоже...»

А Мэриям-бикэ села, поджав по привычке под себя ногу, и заговорила тихим, размеренным голосом:

— Что ниспослал аллах — то и испытаешь. И справедливое и несправедливое. Вот страдает ведь старик мой понапрасну в тюрьме!..

Она вынула из кармана большой платок, вытерла слезы.

— Я нынче на свидание к нему ходила... Обо всех он расспрашивал. Времена, говорит, тяжелые, как там братец Джамали поживает? Ежели, говорит, у тебя какая работа будет, никому другому не отдавай, неси нашему Джамали. И мастера, говорит, другого такого нет, и человека нет честнее... Увидишь, говорит, самого, передай ему поклон...

Джамали чуть не подпрыгнул.

— Так и сказал, а? Так и сказал? — Он подобострастно хихикнул и покачал головой.— Как, говорит, братец Джамали поживает? Не забыл, стало быть! Удивительное дело, а?

— Как забыть-то?.. Ведь вместе жизнь прожили, горе и радость делили, хлеб-соль вместе отведывали.

Сафура накрыла на стол скатерть, расставила чашки, тарелки с угощением.

Джамали поддакнул гостье:

— Так, так! С головой человек! С дурной-то головы разве наживешь миллионы? Ведь одних мечетей сколько понастроил! А меня не забыл! Так, значит, и спросил: как, мол, братец Джамали поживает, а?

— Да, да! Дела, говорит, у него, наверное, неважные. Будешь шить что — неси прямо к нему.

Сафура поставила на стол шумящий самовар, заварила чаю покрепче. Все подсели к столу.

Похваливая хозяйку, старуха чашку за чашкой пила чай. Потом развязала узел, достала из него старую, очень большую и толстую шаль, подкладку, полфунта верблюжьей шерсти, четыре пуговицы, две застежки с голубоватыми камнями, катушку ниток.

— Нет у меня инчего, чтобы иадеть утречком да вечерком в стылой комиате. Еслн ты ие очень заият, сшей мие...

— Что зиачит — занят?!— Джамали даже обиделся.— Как бы ни был занят, твой заказ в два дия сделаю.

Чай пнли долго. Гостья то плакала, то проклинала злых людей, оболгавшнх ее мужа.

— Ннчего не поделаешь, вндио, суждеио иам и такое пережить,— сказала она под конец, подннмаясь из-за стола. Вытерев слезы, Мэриям-бнкэ простилась и ушла домой.

Джамали был подавлен, разбнт. Ои совсем потерял голову. Где уж теперь было браться за утюг!

— Что делать-то, а? И дернуло меия суиуться? Ведь никто за полу не тяиул! Сам сдуру влез, сам нашел этот бешмет... А зачем, спрашнвается? Валн, коиечио, собака! Душу вынет нз тебя, последннй кусок хлеба из рук вырвет! Ну, а те? Аигелы, что лн? Да!.. Не сработала у меня голова. Очень надо было лезть, стоял бы себе в сторонке. А то суиулся неведомо зачем!..

Джамалн взял в рукн повестку, повертел ее

— Два дия всего осталось до суда... Прндется пойти рассказывать про бешмет...

Джамалн, вконец расстроенный, схватил шапку, казакнн, иацепнл на ногн кяуши и решил бежать к свату. Но не успел он взяться за скобу, как дверь распахнулась, и перед ннм появнлся Камали.

— А я к тебе собрался.

— Я сам пришел. Беда...

— Что такое? Что случнлось?!

Камали махнул рукой.

— Сираджн ко мне приходил. Беда, да и только!

Джамали подал ему стул, уселся рядом и нспугаиио спросил:

— Ну, что он говорнл? Что?

— Ты скажн, чего он не говорил! Как тварей последних изругал н тебя и меня.

— Ну, иу?

— Дуракн, говорит, вы. На Советы уже саваи иатягивают. С одной стороиы жмут нх аиглнчане, с другой — французы, с третьей — американцы, с четвертой — япоицы. А вы, два дурня, самн свон головы иа плаху кладете! Что, мол, татары-то про вас скажут? С каким

лицом на татарский базар явитесь? Ежели, говорит, соображаете хоть малость, подумайте: может ли уцелеть доныне бешмет, сшитый двадцать лет тому назад? Кто этому поверит? А вы — два бородатых дурня — ходите, хвастаете по всему миру: мы, мол, нашли окровавленный бешмет Вали-бая, он, мол, подбил на убийство Фахри... Вот беда-то! — Камали покачал головой.— Чего только он не наговорил. Вы, говорит, за порядочного принимаете Фахри? А он бандит, коммунар! А кочегар Садык в тысячу раз хуже. Вы, говорит, топите Вали-бая, а Садыка, говорит, хотите спасти...

Лицо Джамали покрылось мертвенной бледностью. Глаза потускнели, голос потерял живость.

— А ты что сказал?

— Что я скажу? Он мне и рта раскрыть не дал. Ругает и ругает. В пивном, говорит, зале, разинув рты, метранпажа слушали, а у него от свинцовой пыли мозги все сгнили, что он путного скажет? Будь он толковый, его бы из профсовета не выгнали! Хотел повыше вскарабкаться, да Салахиев дал ему пару пинков, он и скатился обратно в свою типографию.

— Ой, беда!

— Вот то-то и оно! Вы, говорит, развесили уши, верите всяким басням метранпажа о Садыке: Садык, мол, Минлебаев в тюрьмах сидел, куда, мол, только его ни высылали. Знаю, говорит, я, за что он сидел. С детства его знаю. На заводе был первый бузотер, первый пьянчужка... Чуть праздник — наденет набекрень картуз с синим околышем, на ноги сапоги блестящие натянет, подпояшет красную рубаху широким ремнем, возьмет в руки тяжелую железную палку и — на улицу. Соберет вокруг таких же, как сам, пьянчужек, и шатаются с гармошкой. Напьются, передерутся, головы друг другу проломят. Глядишь, полиция всех и забирает. Вот, говорит, тебе и Садыковы тюрьмы. Ежели, говорит, ты будешь эдак выкомаривать, тоже во всех расейских тюрьмах пересидишь. А вы, дурни, и заахали: вот, мол, хороший человек! Метранпаж, говорит, врал вам про книгу одну, «Капитал», что ли, будто Садык ее с собой все таскал. А Мустафа смеется: это, мол, у писателя Льва Толстого про такого рабочего написано, они оттуда переняли эту байку. Кочегар, говорит, только после революции и услыхал-то про эту книгу,—

где ему читать ее... Они, говорит теперь все задним числом в революцию лезут... А вы ради таких хулиганов да бандитов Вали Хасанова собираетесь потопить, бешметы окровавленные разыскиваете. Знаешь, спрашивает, как рабочие нашего завода поступили? Нет, отвечаю, не знаю. Не знаешь, говорит, так и не совался бы... На нашем, говорит, мыловаренном заводе сорок татар-рабочих письмо подали против Садыка. Сираджи мне и письмо прочитал — длинное такое. Видишь, говорит, куда дело клонится? А вы, говорит, против рабочих идете, бандитов защищаете, людей смешите со своими бешметами и да еще в свидетели собираетесь идти. Столько наговорил, столько наговорил! У меня и слов-то не хватит все тебе пересказать!

Джамали в отчаянии обхватил руками голову:

— Ох!.. У меня мозги в голове переворачиваются... Пропали мы с тобой!.. И нужно было соваться в это дело! А теперь вон милиционер повестку принес. Через два дня суд... Придется нам идти свидетелями... Что будем делать?!

Уже давно стемнело. На город опустилась черная ночь. Уже второй раз прибегала младшая дочь Камали, звала отца:

— Папа, иди домой! Лапша совсем разварилась.

— Сейчас, сейчас приду,— отвечал Камали, но не трогался с места. Они с Джамали сидели, вздыхали, так и не могли ничего решить.

Пробило два часа.

Камали наконец поднялся!

— Голова кругом идет... Что суждено, то и будет... Только чую, плохи наши дела!..— горестно сказал он на прощание.

Сон у Джамали был неспокойный. Всю ночь виделись ему какие-то кошмары. То ему снился Фахри, и будто по лицу его стекала кровь... То кочегар Садык прохаживался возле него молодцеватой походкой... На голове у него синий картуз, сапоги на ногах блестят. Красную рубаху подпоясал широким кожаным ремнем. Сам хохочет и все пытается щекотать его своей железной палкой, дразнит его. А в следующий миг он уже видел Садыка с мешком за плечами, и в мешке будто лежит толстенная книга. И идет Садык под конвоем по грязной, каменистой дороге прямо в Сибирь... А вон и Вали-

бай. Он смиренно благодарит Джамали: «Спасибо, говорит, тебе, братец. И сладкое мы видали в жизни, и — горькое. А ты в нужную минуту не забыл о дружбе...»

Утром Джамали проснулся весь разбитый.

— Мать,— позвал он жену слабым голосом.— Занедужил я. Все кости ноют... Ноги так крутит, что мочи нет. Ежели кто спросит меня, скажешь: кости, мол, ломит. Я и в суд пойти не смогу.

Бедная Сафура, прожившая всю жизнь в страхе перед аллахом, судьбой и мужем, не на шутку испугалась. Поправила постель мужу: взбила перину, подушки, подоткнула одеяло.

— Господи, что же это приключилось-то? — заскулила она.— Что я скажу милиционеру, если он придет за тобой?

— Это не твое дело,— буркнул Джамали.— Ты одно знай: я болен, ноги у меня ломит, встать не могу... Все одно не смогут в суд пойти...

И без того встревоженное сердце Сафуры и вовсе заныло. Она растолкала детей, нашлепала их, выгнала на улицу и принялась ухаживать за мужем. Пододвинула к его постели маленький столик, налила чай с молоком, подала ему все вкусное, что было отложено для малышей.

Джамали же, занятый своей бедой, своими страхами, даже не заметил хлопот жены. Все в его голове запуталось, он не переставал каяться в своей оплошности и с ужасом думал о том, что ожидает его через два дня.

XXXII

Десять часов утра. Зал набит битком.

Нагимэ, расталкивая людей, пробиралась вперед. У нее был билет в четвертый ряд, но какой-то красноармеец занял ее место. После небольших препирательств красноармейца удалось выдворить. Не успела Нагимэ усесться, как раздалось торжественно-громкое:

— Суд идет! Прошу встать!

Все как-то шумно встали. Общая волна подняла и Нагимэ.

Из задней комнаты в зал вышли судья и заседатели. Они сели за стоявший на возвышении длинный стол,

покрытый красным сукном,— заседатели — по бокам, председатель, высокий, худой Бигаиов,— посредине.

Уселась и публика в зале.

Председатель, коротко переговорив с заседателями, справился у секретаря, присутствуют ли обвинители, защита, ответственный переводчик, затем позвонил в колокольчик и объявил, что начинается слушание дела об убийстве Фахретдина Гильманова.

Ввели обвиняемых. Пять человек в сопровождении вооруженной охраны медленно прошли вправо за барьер и заняли места подсудимых.

По залу прошло легкое волнение. Ведь у каждого из обвиняемых были здесь и знакомые, и родственники, и друзья, и враги. Глаза всех устремились туда, где под конвоем сидели эти пять человек.

Ахми и Гимади Нагимэ знала давно. Они показались ей особенно жалкими. Придурковатый Ахми словно бы не знал, куда деть свое длинное, нескладное тело, и, растерянный, все вытирал грязным рукавом гноившиеся трахомные веки. Старик Гимади сильно похудел. Его косые глаза, казалось, ввалились еще больше. Он сидел как бы удивляясь тому, что с ним произошло, и, весь уйдя в себя, поглаживал жидкую, козлиную бородку и о чем-то с недоумением думал. Поразил Нагимэ сидевший позади них Салахиев. Он держался так, будто был не обвиняемым, преступление которого сейчас разбирается, а героем, готовящимся к бою. Точно драчливый петух, заносчиво и дерзко оглядывал он зал. Каждое его движение, каждый поворот головы говорил о яростном желании схватиться со всем миром, лишь бы освободиться от такого позора, защитить себя от несправедливости.

Внимание находившихся в зале рабочих, служащих, военных больше всего привлекли именно Салахиев и понуро сидевший рядом с ним Иванов. Эти двое еще недавно были их товарищами, считались верными коммунистами. Многие сталкивались с ними на больших собраниях, в государственном аппарате.

В последнее время по городу распространились смутные слухи. Утверждали, что нити этого сложного, запутанного преступления привели к Салахиеву и Иванову, что их арестуют или уже арестовали и посадили в тюрьму. Но многим казалось, что это лишь досужие слухи,

пустые предположеиия. Сегодня же они убеднлись в том, что это правда, убеднлись воочию. Появление среди подсудимых Салахиева с Иваиовым и вызвало особеино острую реакцию в зале, взволиовало людей.

Среди публики иаходился и сын Вали-бая студеит-медик Мустафа. Когда ои увидел Салахиева и Иваиова, в его затуманеииом злобой мозгу мелькнул проблеск надежды.

«Хорошо! И свои тоже попались! — подумал он. — Ворон ворону глаз ие выклюнет. Возможно, это облегчит положение отца».

Одиако и этот проблеск быстро угас. Отчаяние, охватившее в последние месяцы все его существо, вновь завладело Мустафой.

«Нет! — шепиул ои про себя. — Ннчего не выйдет! — И опять засвербила у него в мозгу мысль: — Выгоият, безусловио выгонят! Свнньи, собаки!»

Страх быть исключеииым из университета был самым ужасиым из всего того, что теперь испытывал Мустафа. Ои пришел к нему вместе с известием об аресте отца и уже ие оставлял его. Чтобы отвлечься и ие думать ни о чем, Мустафа до одури играл в футбол, как никогда отдавался работе в клиниках, стал постоянно ассистировать профессору во время операций. Чтобы закалить нервы, по утрам и вечерам обтирался ледяиой водой. Ничто ие помогало. Обвинеиие отца в убийстве Фахри набросило чериую тень на всю его судьбу. А когда узнал, что обвинение имеет политическую подоплеку, совершеиио растерялся. Дни и ночи перелистывал Мустафа кодексы и как-то само собой остановился на 58 статье. За иею маячило страшное слово: коитрреволюция. После этого ои уже совсем пал духом. Бессонными ночами метался он, проклиная в ожесточеиии всех и все на свете:

— Будь они прокляты, и мнр и история! Зачем моя жизнь пришлась на эту страшную эпоху? Отчего я родился на земле этих проклятых революций?

В окутавшем его беспросветиом мраке Мустафе виделась лишь одна, и то крохотная, иадежда: он уже заканчивал четвертый курс. Может быть, примут во виимаиие, что ему осталось совсем немного до завершения учебы? Может быть, учтут, что он татарии? Может быть, это спасет его?..

А судебное заседание шло по своему заведенному порядку. После обвиняемых председатель приглашал одного за другим свидетелей и, объяснив каждому его обязанности и права, напомнив об ответственности за ложные показания, отпускал их.

Перед собравшимися в зале людьми прошли, вызывая перешептывания, разговоры, замечания, байраковцы: пионер Сабит, седобородый дед Джиханша, Шангерей; потом вышел старик кряшен Биктимир Вильданов — он же Иван Панкратов. А там — молодая, смазливая Каримэ, бывшая когда-то четвертой женой Габдуллы-ишана, ее муж — инвалид Самигуллин. И в самом конце — Шарафиев и метранпаж Гайнетдинов.

Не было двух свидетелей — Низами и домуллы.

Защитник Вали Хасанова старый адвокат Арджанов решил попытаться сразу же дать бой противникам. На заявление председателя о неявившихся свидетелях и на его вопрос, как к этому отнесутся обвинение и защита, Арджанов поднялся и сказал:

— В расследовании дела Вали Хасанова оба свидетеля занимают центральное место. Начинать слушание дела в их отсутствии считаю невозможным...

Он говорил еще долго, хотя и сам сознавал неубедительность своих доводов. Но ему было необходимо оставить зацепку, чтобы в более серьезных моментах иметь повод придраться к ведению процесса, предъявить председателю суда Биганову, считавшемуся чрезмерным законником и формалистом, обвинение в том, что его, Арджанова, подзащитный ущемляется в правах.

Прокурор Ансаров, молодой юрист, сразу раскусил хитрость старой лисы. Возвышаясь над столом крупной, широкоплечей своей фигурой, он решительно опротестовал требование адвоката:

— Мы получили от домуллы Фаридельгасри известие. Он пишет, что вместе с муфтием[1] ожидает приема у председателя ЦИКа Калинина. Если прием состоится сегодня, он завтра же будет здесь, если же нет, просит огласить его показания, данные следователю Паларусову. Как видите, мотива для отлагательства слушания дела здесь нет. То же самое и с Низаметдином Худжа-

[1] Муфтий — глава мусульманского духовенства.

баевым. У этого свидетеля раз в четыре дня повторяется приступ малярии, продолжается он четыре-пять часов. Приступ у свидетеля начался сегодня в семь часов утра. Можно полагать, что по окончании приступа свидетель явится в суд. Учитывая все это, повторяю, что для отлагательства судебного заседания нет никаких причин!

После этого первого столкновения сторон состоялось короткое совещание судебной коллегии, которая постановила продолжать слушание дела, не дожидаясь явки двух свидетелей.

Сообщив об этом постановлении, председатель приступил к выполнению формальной стороны заседания: спросил обвиняемых об их имени, фамилии, возрасте, социальном происхождении, профессии... Затем попросил секретаря огласить обвинительный акт.

Чтение этого длинного, очень подробно изложенного акта вконец утомило людей. Многие зевали, дремали, мечтали, как бы выйти в коридор — покурить. Но для Мустафы тот акт был страшным документом, мрачной, черной предысторией его несчастья. Перед ним прошла вся жизнь его отца. Словно он сам побывал вместе с ним в совхозе на Волге и воочию видел бесконечные распри между отцом и большевиком-коммунаром, бывшим батраком Фахри. И вдруг встрепенулся: что такое? «То было не распрей, ссорой двух людей, то было борьбой между социализмом и капитализмом в сельском хозяйстве!» — читал секретарь.

Мустафа не понял этого. «Что за ерунда? — думал он раздраженно. — Какой социализм? Какой может быть социализм в темной, безграмотной татарской деревне, где не знают ничего, кроме горбатой сохи?! Что за чепуха?..»

Однако надо было слушать. Голос секретаря снова повел за собой Мустафу. Кончился раздел экономический, где освещались нарушения законов советского хозяйствования, затем — политический, и, наконец, начался третий — о преступлении, возникшем на почве предыдущих, — об убийстве Фахри.

Даже те, что сидели до этого позевывая в полусонном состоянии, мгновенно очнулись и, широко раскрыв глаза, слушали трагическую историю убийства.

XXXIII

Чтение закончилось.

Председатель договорился со сторонами о порядке ведения процесса. Судебное разбирательство решили вести, как в обвинительном акте, по трем разделам: экономические вопросы, политические, убийство.

Председателя душил кашель. Еле отдышавшись, он коротко и ясно объявил подсудимым, кому из них и какое предъявляется обвинение, в чем усматривается их преступление, и перед каждым поставил вопрос:

— Признаете ли вы себя виновным в предъявленном обвинении?

Поскольку слушание дела начиналось с преступлений, связанных с хозяйствованием в совхозе «Хзмэт», первым вызвали Вали Хасанова.

Особым красноречием Вали-бай не отличался. Блеснуть ораторским искусством не сумел. Но то, что хотел сказать, изложил четко, спокойно. Начал он со своего поступления на службу:

— Покойный Джамилев заявил мне прямо: «Мы знаем, что ты был нашим противником. Но сейчас Советская власть привлекает к работе даже колчаковских и деникинских генералов. Даешь ли ты слово работать честно, если мы пошлем тебя в совхоз?» Я дал слово. А в душе поклялся себе сдержать это слово. Покойный Джамилев сказал тогда: «Вот тебе совхоз! Чтобы в три года поставил на ноги. Не справишься, не показывайся мне на глаза. Твое место будет в тюрьме». Я согласился и с этим. Так приступил я к работе в совхозе «Хзмэт»... и в четыре года сделал его образцовым, лучшим совхозом на Волге...

Старый адвокат Арджанов нашел такое начало очень выигрышным и, дождавшись паузы, с разрешения председателя стал задавать своему подзащитному вопросы, помогающие полнее раскрывать выгодные для него факты.

— Скажите, — обратился он к Хасанову, — сколько десятин посева имел совхоз, когда вы его приняли, и сколько теперь? Сколько голов скота было тогда и сколько теперь?

Вали-бай обрадовался. Это была его любимая тема, и тут он мог развернуться:

— Со скотом дело обстояло так: была одна чесоточная кобылка, которая и жива-то осталась, наверное, потому, что ее позабыла смерть, два старых мерина, вшивый, линялый жеребенок и четыре яловые овцы. Вот и вся живность! В таком же плачевном состоянии были посевы. Кое-как процарапанные, засеянные будто пьяной рукой четыре десятины ржаного поля. Полторы десятины проса сплошь заглушили вьюнок с острецом. На двух десятинах пшеницы тоже, можно сказать, рос один куколь. И еще была полоса, засеянная — невозможно было даже разобрать — то ли овсом, то ли ячменем. Вот и все богатство!.. Надо сказать, что государство помогало крепко. Давало все, что имело. И я сам работал не меньше восемнадцати часов в сутки. Таким образом, за четыре года добились следующих результатов: сейчас в совхозе имеется, считая и мелкую живность, до ста голов скота. Из них — двенадцать отличных рабочих лошадей, несколько племенных черкесских баранов. Они используются для улучшения породы овец всех окрестных крестьянских хозяйств. Есть замечательные холмогорские быки, племенные, чистых кровей, жеребцы. С трехполья я перешел на многополье. Первым приобрел трактор. Мои машины обрабатывают и поля соседних деревень. Каждый год я отпускал хлеборобам по дешевой цене очищенные сортовые семена. Когда я приехал в совхоз, усадьба там была сущим обиталищем чертей. В двухэтажном прекрасном доме, оставшемся от помещика, гуляли ветры, окна все были выбиты, двери сорваны, лестницы развалены, полы разворочены. Крыши не было совсем. Клети, конюшни, амбары стояли полуразрушенные. Нельзя было без слез смотреть на такое разорение! Ограда вокруг усадьбы и сада была почти всюду повалена. Колючая проволока валялась на земле, ржавела... Сейчас вы все это не узнаете. За четыре года я восстановил всю усадьбу. Отремонтировал, покрасил. Теперь там настоящая дача. Вот так!..

Откровенное хвастовство Вали Хасанова стало раздражать многих. Прокурор решил, что пора показать и обратную сторону медали, и, отложив временно допрос Хасанова, попросил председателя вызвать свидетеля Гайнетдинова.

Во время работы в профсовете Гайнетдинов ездил обследовать жизнь рабочих совхоза «Хэмэт».

Гайнетдинов начал приподымать завесу с преступления, обнажая ту ее сторону, которая, может быть, на первый взгляд казалась не имеющей прямого к нему отношения:

— Тотчас по приезде я пошел в помещение для рабочих. Выяснилось, что кормят их непропеченным ржаным хлебом, чай дают без сахара, со снятым молоком. К обеду — бурда с пшеном и кусочками потрохов. «Мясо, — сказали мне рабочие, — мы видим только от праздника к празднику». Постели рабочих — голые нары, всюду грязь, мусор, пыль. Спецодежду им не выдавали. «Работаем мы,— заявили они, — по пятнадцать, шестнадцать часов в сутки. Если попробуешь возразить, поспорить, тут же выгоняет: лентяй, мол, дела не знает. За нас, — рассказывали они, — Фахри всегда заступается. Он и в город пишет, только не получается из этого толку. И там, наверно, такая же, как Вали-бай, собака сидит...» Это вам первое.

Гайнетдинов вопросительно взглянул на председателя и продолжал:

— Верно, что за четыре года «Хэмэт» значительно окреп. Но здесь, как говорится, подправляя бровь, выбили глаз! Я сам из крестьянской семьи и разбираюсь в этих делах. Вали Хасанов через своих агентов в земотделе, орудовавших против Советской власти, тянул все в свой совхоз. Многое из того, что предназначалось в два соседних совхоза, получил он, Хасанов. Дотацию, отпущенную государством четырем совхозам, опять заглотал один Хасанов. Также через своих людей он получил первый трактор. Другие совхозы начали жаловаться — спецы из земотдела действуют на руку Хасанову. Они общими силами укрепляют имение помещика, и делают это с черным умыслом! Значит, если «Хэмэт» и стал образцовым, то за счет развала других совхозов. А Вали-бай ходит везде да бахвалится, что он-де поднял совхоз. Вот что раскрыла ревизия. Это вам уже второе.

Зал, слушавший Гайнетдинова с напряженным вниманием, рассмеялся. Председатель, призывая публику к порядку, позвонил в колокольчик.

Гайнетдинов, как ни в чем не бывало, продолжал говорить:

— Посмотрел я на все эти репьи «цветущего сада»

и поговорил тогда с самим Вали Хасановым. Как, говорю, идут дела? «Трудно мне,— отвечает.— Со всех сторон подножки ставят». Из его слов получалось, что ячейка ему ставит подножку, профсоюз ставит подножку, газета ставит подножку, и больше всех старается Фахри. Это вам уже третье. Есть еще и четвертое: бедняки из соседней татарской деревни организовали две небольшие артели — каменщиков и плотников. А Вали Хасанов все работы в совхозе давал кулаку. «Почему так?» — спрашиваю. «Не справляются, — ответил он. — Работают плохо, берут дорого, в срок не делают. Там не разберешь, кто у них голова, не знаешь, с кого и требовать». Четыре года руководил Хасанов совхозом и четыре года воевал с кооперацией. «Чем, — спрашиваю,— объяснить это?» — «С ними, говорит, дела не сделаешь. Закажешь что — в срок не привезут. Поручишь продать—денег не дождешься». Вот все, что мне известно, — закончил Гайнетдинов.

Вокруг показаний Хасанова и Гайнетдинова разгорелся настоящий бой. Старый адвокат, пускаясь на все ухищрения, пытался задавать Вали выгодные для него вопросы. Прокурор Ансаров со своей стороны закидал Гайнетдинова вопросами, которые беспощадно разоблачали деятельность руководителя совхоза.

Помучив больше часа, окончательно вымотав его, метранпажа отпустили. Вызвали Шангерея.

Шангерей, как всегда, был в старых сапогах, бешмете и каляпуше. Округлая его бородка была обрита под губой, усы — длинные. Большие руки заскорузли от полевой работы, лицо обветрено, опалено солнцем. Он внимательно оглядел стол под красным сукном, стоявший на возвышении, заседателей, особенно — худого, изнуренного Биганова и уже не сводил с последнего сосредоточенного взора.

— Шангерей Тимеркаев, что вы знаете о деятельности Вали Хасанова в совхозе?

— Что я могу знать? — с нарочитой простоватостью ответил Шангерей. — Четыре курячьих головы видел своими глазами.

— Какие эти курячьи головы?

— Приехал Салахиев. Прожил в совхозе три дня, три ночи. И все три дня, три ночи пил. Требовал, чтобы ему топили баню. Парился свежим березовым веником.

И каждый день ему подавали фаршированную курицу. А на дорогу приготовили четвертую. Стало быть, четыре получается головы?

В задних рядах засмеялись.

Председатель предупредил расшумевшихся, что их выведут из зала, и снова обратился к свидетелю:

— А как вам удалось вести счет?

— Не я, Ахми считал. Пусть сам скажет. Он связал их вместе и таскал.

— Ахмет Уразов,— повернулся председатель к подсудимому,— для чего вы собирали куриные головы?

Ахми покачнулся всем своим нескладным телом, потер рукавом глаза и жидким голосом ответил:

— Так... В шутку... Баловался...

— Что вы еще знаете?— спросил председатель Шангерея.

— Еще знаю о «перваче».

— Что это такое? — спросил Аисаров.

— Значит, так: самогонка бывает разная. Есть и самого первого сорта. И на вкус хороша, и запаха нет почти. У нас на Волге ее «первачом» называют. Совхоз был очень гостеприимный. Туда и домулла приезжал, и Федор Кузьмич по три дня угощался. А уж про Низами и говорить нечего. Им всем и есть и пить хватало. Как-то Салахиев, видать, основательно налился, запасов Вали не хватило, и к третьей ночи послали в соседнюю деревню за «первачом». Опять Ахми ходил за ним...

— Ахмет Уразов, — спросил председатель,—ходили вы за самогоном?

— Как не пойдешь, ежели велят? — не поднимая головы, еле слышно сказал Ахми.— Я — работник.

— Ахми все шутил, — добавил Шангерей, — если, мол, к баю бай приедет, то и работник масла попробует. Дескать, и ему останется на донышке...

Прокурор хотел задать ему вопрос о Салахиеве, но не успел, то же самое спросил заседатель из землесхоза:

— Скажите, сколько собраний провел Салахиев с рабочими совхоза?

— Одно! —резко ответил Шангерей. —Всего-навсего одно собрание! Я малость плотничаю, при случае меня звали в совхоз на поденную работу. Когда Салахиев

созвал рабочих на собрание, я как раз был там. Слушал все от начала до конца. Один рабочий прямо заявил ему: «Как приедешь в город, передай, что мы здесь собачьей жизнью живем... И постоять за себя не можем,— гонят с работы». В ответ ему Салахиев держал долгую речь. «Товарищи,— сказал он,— устраивать распри нельзя. Капитализма у нас нет, все у нас общее. Между руководящими и низовыми работниками должен быть контакт. Сообща надо работать». Не стерпел я: здорово, говорю, а не поешь ли ты песню Вали-бая? Спорить с ним пытался. Но он несколькими словами заткнул мне глотку...

Второй заседатель, ученый агроном, поспешил задать вопрос, который у всех вертелся на языке:

— Что это за слова?

— Салахиев объяснил нам так: «Ленин говорил, что рабочие и крестьяне за свою власть, за свою диктатуру должны жертвовать собой, должны переносить все. Вы, товарищи, всегда должны помнить об этом».

В зале поднялось волнение.

— Услышав такое,— продолжал Шангерей,— я растерялся. Вроде даже голова у меня закружилась. «Неужто,— подумал я,— Ленин так говорил?» И никого рядом не было, чтоб спросить. Вот и пришлось заткнуться... Недаром говорят, татарин задним умом крепок. Потом я и сам разобрался, да Салахиев уже уехал... Не то я бы ему тоже объяснил, как «надо собой жертвовать»...

— Неверно! — вдруг с криком вскочил Салахиев.— Я иначе говорил!..

Резко зазвенел колокольчик. Председатель неожиданно громким голосом оборвал Салахиева:

— Никто, никогда, ни по какому поводу не имеет права говорить без разрешения председателя! Вы, Салахиев, как и другие подсудимые, можете выступать, но с одним условием: испросив предварительно разрешения у председателя суда! Это должны помнить все, кто участвует в суде!

Попросив слова, Салахиев с жаром начал рассказывать о своей поездке в «Хзмэт», давать объяснения о курах, о «перваче»... Нагимэ было интересно послушать, как он будет изворачиваться, но в это время сзади кто-то толкнул ее в плечо и передал записку:

— Кажется, вам...

На записке было написано по-русски: «Нагимэ Минлебаевой». Нагимэ вздрогнула и в страхе развернула бумажку:

«Мама, приходи скорее, — писал ей сын. — Фатиха захворала».

Нагимэ вскочила и, расталкивая всех, стала пробираться к выходу. Салахиев говорил о ревизии в совхозе, об образцовом его состоянии, о том, как сумел Вали Хасанов поставить там работу...

Однако Нагимэ уже ничего не слышала. Позабыв обо всем, она бежала к больному ребенку.

XXXIV

Крохотная дочь Нагимэ действительно серьезно захворала. Но заботливая мать вовремя приняла все меры, сразу побежала с ребенком к врачу, и опасность миновала. Теперь все страхи уже были позади. И Нагимэ, оставив дочь на попечение старухи соседки, побежала в аптеку.

— Придете через сорок минут, — спокойно сказали Нагимэ в аптеке.

Она пыталась спорить, объясняла, что лекарство срочное, что оно для ребенка. Ничто не помогло.

— Все больные, все ждут,— ответили ей.

Возвращаться домой было далеко, Нагимэ решила переждать у Шарафи, который жил поблизости.

Бывшие номера Козлова, теперь — Первый Дом Советов. На втором этаже, в комнате тридцать второй живет Шарафи.

Нагимэ поднялась по широкой лестнице, прошла по длинному коридору и, остановившись у застекленной до половины двери, подняла руку, чтобы постучаться. Тут кто-то распахнул дверь изнутри, и Нагимэ едва не столкнулась с вышедшей из комнаты молодой женщиной в короткой синей юбке, синей блузе, с красной косынкой на стриженой голове. Женщина расхохоталась:

— Чуть лбы не расшибли! Вы к кому? К нам?

Нагимэ удивленно посмотрела на нее.

— Я к Шарафи!

Женщина повернулась и крикнула в комнату:

— Шарафи, к тебе гостья!

В дверях показалась высокая фигура Шарафи. Увидев Нагимэ, он обрадовался:

— А, Нагимэ-апа, вы? Очень хорошо. У меня как раз все байраковцы.

Заметив недоуменные взгляды женщин, он спросил:

— Вы что? Не знакомы? Ну, тогда представляю вас друг другу. Нагимэ-апа, вот эта стриженая — моя жена Мэдинэ!

— Как? Ты женился?

Нагимэ протянула молодой хозяйке руку.

— Вы, пожалуйста, извините, — сказала Мэдинэ. — Я очень тороплюсь...

— Подождите,— задержала ее руку Нагимэ,— дайте хоть посмотреть на вас... Ваш муж близкий наш друг!

Переводя лукавый взгляд с мужа на гостью, Мэдинэ сказала:

— Знаю, очень хорошо знаю. Шарафи так много о вас рассказывал, что я даже ревновать стала.—И тут же, прижимая к себе портфель, протянула руку, чтобы уйти. — И все-таки я пойду. В пять часов у нас начинается собрание. Я и так из-за него,— она с усмешкой кивнула на мужа, — два выговора получила. Мы с ним еще придем к вам!

Но Нагимэ не отпускала ее:

— Постойте! Когда же это случилось?

— Да уж так... Все произошло необычайно быстро: познакомились, полюбили, поженились. Остальное Шарафи расскажет.— Она улыбнулась и, вырвав у Нагимэ руку, убежала.

Шарафи ввел гостью в комнату. Там за накрытым столом сидели родные ее байраковцы, приехавшие требовать на суде возмездия за кровь Фахри. Побитые ветрами и дождями, обожженные солнцем лица, крупные натруженные руки... Вся их жизнь прошла на полях, на покосах, и казалось, они сами вдосталь набрались грубой силы земли. Оттого, может быть, даже сегодня, когда вновь растревожили их рану, их боль, они сохраняли мудрое свое спокойствие.

В перерыве между заседаниями Шарафи привел байраковцев к себе обедать. В комнате царил полный хаос. На кровать были брошены старые чекмени, бешметы, шапки, войлочные шляпы. С подоконника свисала шинель, — видимо, Шаяхмета, который пришел сюда со

своими земляками. Все книги, бумаги, журналы, газеты, лежавшие обычно на письменном столе, были грудой свалены на этажерку. А стол выдвинут на середину комнаты и вместе с другим, маленьким столиком накрыт для обеда. На белой скатерти были расставлены тарелки, чашки, разложены ложки, вилки, ножи; посредине стояли судки с огурцами, с капустой и большая фарфоровая миска с дымящимися пельменями. Гости только что начали обедать...

XXXV

— Вот оно что! Ну, попалась теперь, — шумно встретил Шангерей Нагимэ.— Муж, стало быть, на завод, а ты — к посторонним мужчинам?

Во главе стола сидела Гайшэ. Она похудела, осунулась. Веснушки, казалось, еще гуще осыпали ее щеки. Темное, обветренное лицо ее стало суровее. На Гайшэ было клетчатое платье, которое она надевала лишь в большие свои выезды — на конференции, съезды. Белый платок был повязан, как обычно, назад, в роспуск и закрывал спину. Она наливала Шаяхмету бульон с пельменями, но, увидев Нагимэ, отложила половник, поднялась ей навстречу:

— Как раз к началу обеда поспела, — значит, с добрым сердцем пришла. Иди, милая, садись рядом со мной!

Нагимэ поздоровалась со всеми и, усаживаясь, ответила Шангерею:

— Куда уж нам, Шангерей-абзы! Мы с тобой, как говорится, уже выпали с тележки. Видел? Жили- дружили, чуть не из одного казана ели, а он неведомо когда нашел, неведомо когда женился! Вот сейчас первый раз жену его увидела, чуть лбами у дверей не стукнулись. Отчаянная: мы, говорит, быстро справились — познакомились, полюбили, женились! Ну, что ты на это скажешь, дедушка Джиханша?

Старик рассмеялся. Шангерей тем временем достал спрятанную за этажеркой водку.

— Без водки пельмени есть грешно! — Он шлепнул ладонью по дну бутылки и, выбив пробку, стал разливать по чашкам. Первую протянул Шарафи:

— Начнем с тебя, хозяин!

Шарафи, не торопясь, положил себе в тарелку огурец, луку, посолил ломтик черного хлеба и, взяв чашку, выпил ее крупными глотками до дна.

Вторую чашку Шангерей протянул деду Джиханше:

— Давай, дед, тряхни стариной! Кости чуток разомнешь!

— Давно не пробовал. Как-то оно получится? — Дед покачал головой, но не стал отказываться, взял чашку, потянул носом.

Вокруг засмеялись, начали подзадоривать его. А дед, поглаживая широкую бороду, ухмыляясь, пустился в воспоминания:

— Ох, и пили же мы ее в молодости с башкирскими джигитами! Был у меня друг по имени Алимгул. Утонул, когда в половодье плот на Урале сплавлял... А голос у покойного был!.. Пел — за душу хватало. Бывало, затянет:

Широки просторы Ак-Идели,
Но большому морю не под стать.
Нашим счастьем баи завладели,
Равной доли бедным не видать...

и давай глушить чашку за чашкой...

Уж такой у деда характер: коль заведется, не скоро остановишь. Все принялись за пельмени, а дед вынул из кармана платок, вытер широкий лоб и с полной чашкой в руке начал рассказывать о своем друге-башкире:

— Было это за год до его смерти. Сплавил Алимгул по Сакмару плот в Оренбург и возвращался к себе домой. А я шел на Урал наниматься в каменоломни. Встретились мы с ним в какой-то деревне. Увидел меня — обрадовался, бросился обнимать:

— Ой, — говорит, — Джиханша-агай[1], — видать, плохи твои дела! Давай-ка я тебя угощу!

Велел он хозяевам, где мы остановились, сварить жирной колбасы из конины, принес две бутылки вот такой же белой. И мы всю ночь с ним вдвоем и пили, и пели, и плакали... Голос-то у него был редкостный. Бывало, поет под курай[2] — в горах отдается! А тут, видно, чуял, бедняга, свою смерть, так пел, душу мне всю перевернул. И все одну и ту же песню:

[1] Агай — дядя; почтительное обращение к старшему мужчине.
[2] Курай — деревянный музыкальный инструмент типа флейты.

Выхожу я рано на рассвете
На цветы подснежника взглянуть.
Богатеям жить легко на свете,
Беднякам ни охнуть, ни вздохнуть.

С этой песней и заснул. Утром мы расстались. Больше я его не видел. В следующую весну, когда отправился в те края на заработки, узнал я о его гибели...

— Ну, дед Джихаиша, выпей в память своего друга Алимгула! — прервал его Шангерей. — Тебя ждут.

Старик с трудом сделал несколько глотков и поставил чашку обратно:

— Нет, не идет!

Нагимэ и Гайшэ не пили. А Шаяхмет, хоть и не прочь был выпить, да воздержался. Месяца два назад он крепко напился с товарищами и сам не помнил, как выбежал в одном белье на улицу, полез на забор, чтобы пройтись по нему до соседнего дома, и чуть не убился. За это он попал в Контрольную комиссию и получил выговор.

Шангерей не стал его уговаривать.

— Вот и хорошо... Люблю непьющих людей! — шутливо сказал он, наливая Шарафи и себе.

— Дедушка, что же ты мне ничего не ответил? — вспомнила вдруг Нагимэ.

— А что тут ответить? Времена, дочка, такие! — И дед снова стал вспоминать старину:

— Как-то четыре месяца кряду ходил я с проклятой бечевой между Астраханью и Нижним, баржи тянул. Мы в те годы на заработки бурлачить уходили. Справил я себе одежонку, двадцать рублей серебром привез домой. А отец с матерью, покуда меня не было, просватали мне девушку из Шеланги. Даже не спросили: хочу я жениться на ней или нет? И узнал-то я об этом не от них, а от соседей...

Шангерей чокнулся с Шарафи, выпил и, крякнув, повернулся к старику:

— Ну, а потом, дед?

— А потом выведал я, чья она, из какого дома, и решил пойти тайком посмотреть на нее. Ночь была темная, осенняя. Взял я с ночного соседскую лошадь, вскочил и поскакал в Шелангу. Невесту, значит, еду свою смотреть. А темень — хоть глаз выколи! Добрался. Спешился в сторонке, пролез во двор. Вижу, свет в окош-

ке. Она, думаю, сидит. Только я подкрался к окну, как огреют меня дубинкой по спине... Думал, дух вон! И поднялся тут шум! Откуда-то взялись собаки... Еле выбрался... Недели две лопатка болела, аж вся почернела... Вот, доченька, как мы женились. А Мэдинэ с Шарафи люди нынешние...

— Неужто и ты не слышала об их женитьбе? — спросила Гайшэ Нагимэ. — А мы думали, что ты главной гостьей на свадьбе сидела!

— Какая там свадьба? Только сейчас узнала!

После обеда пили чай, и гости приставали к Шарафи, чтобы он рассказал им о своей женитьбе. Однако Шарафи оказался рассказчиком неумелым.

Два года назад в кружке марксизма на докладе по диамату они с Мэдинэ очень горячо поспорили. С этого началось их знакомство. Стали встречаться, полюбились друг другу. И вот неделя, как Мэдинэ переехала к Шарафи.

Такой сухой рассказ вовсе не удовлетворил Нагимэ. Ей хотелось допытаться до всех подробностей, но уже пора было идти в аптеку. Ее стали удерживать.

— Не могу,— объяснила она. — Ребенок у меня заболел. Я и зашла-то ведь посидеть, пока лекарство готовили.

Прощаясь, Нагимэ пригласила всех к себе в гости:

— Завтра в перерыв приходите ко мне обедать! И ты заходи, Шаяхмет. Смотри, — обратилась она к Шарафи, — Мэдинэ с собой приведи!

— А водка будет? Если нет, не пойду, — начал было шутить Шангерей, но Гайшэ прервала его:

— Послушай, милая, ведь у тебя ребенок хворает. Трудно тебе будет. Давай лучше послезавтра соберемся!

Но Нагимэ не согласилась, — девочка поправляется, и она успеет справиться с делами.

Они с Гайшэ уже подошли к двери, как снова зашумел Шангерей:

— Погоди, Нагимэ! Я не думал, что ты сбежишь так скоро. Как у Садыка дела? Почему ты ни слова о нем не сказала?

— Ах, Шангерей-абзы, и не спрашивай! Тяжело ему!

— А что случилось?

— Этот Ямашевский завод доконает его. Когда Садыка посадили, прежний директор захворал. Вот и затянули с платежами. Вексель на сорок тысяч того гляди опротестуют. А банк закрыл кредит. Отгрузили они несколько тысяч пудов мыла и свечей, а заказчик вернул обратно — не по их, мол, заказу сделано. Вот Садык и рвется на части. Поступает сырье — выкупить не на что. Задерживается зарплата рабочим. За два месяца не внесены страховые платежи. Надо платить, а профсовет нажимает, требует не задерживать заработную плату рабочим.

— Как же он вывернется? Не погорит завод?

— Нет. Они там все днюют и ночуют. Пролонгацию, кажется, получают. И еще там что-то. Сегодня или завтра все решится...

Разговор о Садыке затянулся. Вдруг Гайшэ вспомнила о своих заботах:

— В город не часто удается приезжать. Посоветуемся, пока вместе, куда моего пионера определить...— И дрогнувшим голосом добавила, что Фахри мечтал отдать сына в фабзавуч.

Немного захмелевший Шангерей хлопнул Шарафи по колену:

— Вот он у нас ученый человек! Пусть скажет, куда парнишку устраивать.

— Устроим,— как всегда спокойно ответил Шарафи.— Посоветуемся с Садыком, с Василием Петровичем. Правда, деревенских детей принимают в школы крестьянской молодежи, но, думаю, сделают исключение, поскольку он из татарской деревни. Не кулацкий же сынок...

Гайшэ вышла в коридор проводить Нагимэ, но там они опять разговорились. У них, близких подруг, которые выросли в одной деревне, пили воду из одного родника, трудились рядом на одном и том же поле, было много, о чем им не хотелось говорить при других. Гайшэ, обычно сдерживавшая себя, заплакала.

— Так оно и получается, милая,— говорила она, утирая слезы.— Пока рядом, пока жив, не ценим. А потом... Вот я держусь, снаружи-то вроде и спокойна, а ночами... Одна я знаю, сколько бессонных ночей провела...

Глядя полными слез глазами на Гайшэ, Нагимэ пыталась утешить ее:

— Что делать, Гайшэ-апа, уж ты крепись. Будет еще у тебя семья. Выйдешь же ты замуж когда-нибудь!

Гайшэ горько усмехнулась:

— Нет, милая, нет! Вот устрою своего пионера учиться в город, а октябренок останется со мной. Возьму в дом старушку за иим присматривать и примусь за работу.

— За какую работу?

Гайшэ рассказала ей о приезде Шакира Рамазаиова, о том, что Шаигерея берут в волисполком, а ее — в сельсовет.

— И ты согласилась?

— И я и Шаигерей противились. Да Рамазанов и слушать не стал. Не мое, говорит, решение, а волкома.

Из комнаты выглянул Шангерей:

— Секретничаете? Ну, ладно, секретничайте!

Женщины вошли обратно в комнату. Оии, оказывается, даже не заметили, что пришел новый гость — двенадцатилетний сын Шангерея Сабит. Перед ним стояла полная тарелка пельменей. Мальчик уплетал пельмени, в то же время не переставая тараторить, призывая Шарафи рассудить его давний спор с Шаяхметом:

— Верно ведь, Шарафи-абзы! Ведь я прав? Три года я был октябренком. Вот теперь я стал пионером. Так? И еще... Еще через четыре года вступлю в комсомол...

— Так, так...— улыбаясь, подтверждал Шарафи, хотя и не понимал еще, к чему он клонит.

— А потом после комсомола перейду в партию. Верно? Если буду настоящим активистом, меня в двадцать два года уже примут в партию. Ведь примут? А Шаяхмет-абзы говорит: до двацати четырех лет все равио не примут, хоть ты, говорит, будешь и расхорошим комсомольцем. Это же неправильно! Если активиый, ведь могут и до двадцати четырех лет в партию провести?

Шарафи рассмеялся. Он сказал Сабиту, что действительно могут быть исключения для самых достойных, чем вызвал у того бурю восторга.

— Ага, Шаяхмет-абзы, чья правда?

Любуясь горячностью, непосредственностью мальчика, Нагимэ мягко сказала:

— Да ты поешь сначала. Успеешь поспорить-то! — И взглянула на часы — было уже около пяти.

Прощаясь со всеми, Нагимэ повторила приглашение, а Сабиту сказала особо:

— Мой ведь тоже пионер! Обязательно приходи, поиграете вместе.

— Приду, приду! — крикнул ей вслед Сабит.

— Пора и нам! — Гайшэ поднялась. И хозяин и гости отправились в суд.

XXXVI

Ребенок уже совсем ожил, улыбался, и Нагимэ, поручив его старухе, спокойно занялась уборкой.

Дом, в котором они жили, принадлежал прежде какому-то банкиру. После революции он был национализирован, и вот уже третий год, как жильцы всех десяти квартир объединились в жилищный кооператив, и дом стал называться «Жакт № 8». Кооператив организовал Садык и целый год вел его дела. Теперь Садыка заменил портной Мусин.

Минлебаевы занимали на первом этаже трехкомнатную квартиру с небольшой кухней. Постепенно они обзаводились необходимой мебелью, и Нагимэ старалась содержать квартиру в чистоте, в порядке. Только в последние дни, занятая неожиданными делами, запустила она свое хозяйство.

Сегодня утром, торопясь в суд, Нагимэ даже со стола не убрала. Самовар, чашки и разная другая посуда, хлеб, яичная скорлупа, остатки масла — все это в полном беспорядке загромождало стол. С него и начала Нагимэ: что-то вынесла на кухню, что-то убрала в буфет, помыла посуду, переменила скатерть. Затем перешла к детским кроваткам. Видно, мальчики немало на них повозились: с подушек были стянуты наволочки, одеяла свисали на пол, простыни были сдернуты, тут же вместе с детскими костюмчиками почему-то лежали ее блузки. Нагимэ привела в порядок постели, убрала, развесила одежду, подмела пол, вытерла влажной тряпкой пыль. Окинув еще раз требовательным взглядом комнату, она заглянула в кабинет мужа и ахнула...

Садык совсем закрутился с заводскими делами, в последнее время он дома бывал редко и заглядывал лишь для того, чтобы наскоро поесть, перехватить что-нибудь. Нередко он в спешке начинал искать нужные

матерналы и, перерыв все бумаги, убегал снова. Еще больший беспорядок учинялн у него на столе мальчншкн, рывшиеся в поисках картннок во всех отцовских журналах н книгах.

Сегодня онн особенно постарались. Над пнсьменным столом словно пронесся ураган. Бумаги, газеты, пнсьма — все перемешалось, кннги валялись на полу.

Дети, видимо, пытались снять со стены портреты Вахитова и Ямашева [1], но не справилнсь с этим делом и оставили их висеть вниз головой. Рядом, едва держась на гвозде, свисали две диаграммы. Справочники, экономическая литература, которые Садык держал на этажерке, былн сложены аккуратными стопочками на полу.

Нагнмэ даже не знала, сердиться ей или смеяться. Хорошо еще не похозяйннчали в большом кннжном шкафу!..

В первые годы после революции Садык, бывая на партнйных съездах, конференциях, на разных совещаниях, прнвозил домой кучу книг, стенографических материалов. Когда-то у него была одна книга — потрепанный томнк «Капитала» Маркса. Теперь рядом с ним выстроилнсь и другне произведения Маркса, книги Энгельса, Ленина. Садык любил кингн, и у него уже была солндная бнблиотека. Подойдя к шкафу, Нагимэ успокоилась: «старики» стоялн на месте.

Она уже привела в порядок стол, расставнла книгн н заканчивала уборку, когда неожиданно раздался стук в дверь. Нагимэ побежала открывать. Приехали Садык и Василнй Петрович.

— Мы сейчас выйдем. Жднн нас! — сказал Садык кучеру и провел Васнлия Петровнч в кабинет. Хаос в доме уже начинал его угнетать, н он обрадовался, увидев комнату прнбранной.

— Вот это хорошо! — с улыбкой сказал он жене.— Дошли у тебя руки и до моего кабинета!

Усаднв Василия Петровича на диван, Садык достал из нижнего ящика стола несколько скрепленных вместе листов бумаги.

— Вы редкнй гость у нас. Без чая не отпущу,— обратнлась к старику Нагимэ.

[1] Вахитов Мулланур (1877—1919) и Ямашев Хусаин (1875—1909) — татарские революционные деятели.

— Оставь, не лезь с пустяками, мы торопимся! — махнув рукой, проворчал Садык.

Но Василий Петрович вступился за Нагимэ:

— Ты что шумишь? Чай можно и между делом выпить.

Нагимэ, довольная, сдвинула в сторону газеты и, накрыв письменный стол белой салфеткой, быстро принесла сотового меду, белого хлеба, чашки с чаем. Пригласив мужчин к столу, Нагимэ пошла к детям.

Садык, помешивая ложкой горячий чай, начал читать вслух одну из бумаг:

— «Мы, нижеподписавшиеся рабочие-татары, желаем избрать на место Садыка Минлебаева другого человека. Садык опорочил свое пролетарское имя. Он вернулся к прежнему хулиганству, бандитизму. Чтобы отомстить своим старым врагам, он стал убивать крестьян-коммунаров, подобных Фахри. Мы верим, что такие бандиты будут исключены из партии, и заявляем, что не согласны на избрание Садыка Минлебаева от нашего имени в члены горсовета».

Садык, читая письмо на татарском, фразу за фразой переводил его Василию Петровичу на русский язык. Под текстом столбиком были выписаны порядковые номера — от первого до сорокового.

Садык засмеялся:

— А это заготовлено для подписей рабочих.

Василий Петрович несколько лет работал в Контрольной комиссии, и ему не раз приходилось расследовать интриги всяких злонамеренных элементов. Этот случай показался ему просто смешным, чувствовалась неопытная рука.

— Как оно попало к тебе? — спросил он, закуривая папиросу.

— Ты знаешь Хабиба, брата Гайнетдинова?

— Знаю.

— Он принес.

— А он откуда взял?

— Все произошло таким образом: как только меня посадили, Сираджи подготовил письмо и дал его Гисмату-абзы, чтобы тот собрал подписи среди беспартийных рабочих. А Гисмат-абзы в тот же день заболел и попал в больницу, вот письмо и пролежало у него в кармане пальто до вчерашнего дня. Вчера он выписался из боль-

ницы, пришел к Хабибу и сказал ему: «Ты, кажется, комсомолец. Возьми эту бумагу и передай Садыку и Василию Петровичу. Только смотри, чтобы никто больше не знал...» Так все и открылось. Бери это письмо и делай с ним, что хочешь...

— А знаешь? — Василий Петрович откинулся на спинку дивана и усмехнулся. — Ведь главный виновник этой истории — я!

— Как? — Садык удивленно уставился на него.

— Да вот так! Когда этот ваш Сираджи подал заявление о приеме его в кандидаты партии, Гайнетдинов сразу заявил мне: «Не теряй попусту время, вычеркивай эту собаку!» — «Почему?» — спрашиваю. «Он, говорит, и лавку заводил, и спиртом тайно торговал во время войны. Не выйдет из него ничего путного!» А я задумался: ведь татарин все-таки. Партия в отношении и татар, и других национальных меньшинств велит быть особенно внимательными. Решил побеседовать с ним самим. Вызвал к себе, спрашиваю: «Лавку имел? Спиртом из-под полы торговал?» Он оказался очень бойким. Не испугался ничуть, даже не смутился. «Ты, говорит, Василий Петрович, уважаемый пролетариатом человек, тебе все доверяют. Вот, говорит, и я открою тебе свое сердце. Сочтете годным — примете в партию, нет — прогоните». И стал рассказывать: «Насчет лавки, говорит, действительно, дым не без огня. Случилось так, что попало мне в руки тридцать рублей. У жены были кое-какие вещички, в приданое принесла, их заложил за пятнадцать рублей. Двадцать пять взял в кредит. На эти деньги и открыл я нищенскую лавчонку в бедной татарской слободе. Месяца полтора, говорит, и успел поторговать, как на той же улице — бойкое-де место — открыла большой магазин одна богатая фирма. Ну, известно, оказался я через месяц на мели. И тридцать целковых сгибли, и женины вещи не смог выкупить. Вдобавок еще пришли и описали у нас самовар да зеркало. С той поры за торговлю не брался. Служил в конторе у Вали-бая. В советское время работал в кооперации». — «А как, спрашиваю, спирт из-под полы?» — «Это, говорит, чистейшая ложь. Даже касательства к такому делу не имел. Вы, говорит, Василий Петрович, хорошо знаете, как царь Николай притеснял татар: и в школы нас тогда не принимали, и на фабриках к ква-

лифицированной работе не допускали. Если, говорит, и в советское время будете отовсюду гнать — куда же нам деваться?» Порасспросил я на стороне об этом Сираджи. Плохого никто ничего не сказал. В гражданской войне он не участвовал по здоровью. У него есть справки, что в те годы работал в советских хлебных лавках. Пришлось также учесть, что он — татарин. Когда обсуждали на ячейке, я сам выступил в его защиту. А Гайнетдинов был против... Представляю, как он меня костить будет, когда ознакомится с твоим материалом. Предупреждал, скажет, я тебя. Не послушался!

Затрещал телефон. Звонили из горкома. Садык начал было спорить, протестовать, но ему категорически заявили:

— Вечером будет слушаться твой доклад. До этого надо обсудить все вопросы по докладу на партийной комиссии. Тезисы, проект резолюции должны быть готовы. Созвать парткомиссию поручается тебе.

Садык просто растерялся. Хоть на сорок частей разорвись — все равно не поспеешь.

— Бери себе,— сказал он, передавая Василию Петровичу письмо, сфабрикованное Сираджи.— Там посмотрите, как поступить с ним.— И, взяв портфель, громко позвал жену.

— Что случилось? Чего ты кричишь? — спросила, входя, Нагимэ.

— К ужину меня не жди. Я задержусь.

— Что же это такое в конце концов? — неожиданно вспылила Нагимэ.— Привязал жену к печке, а сам все время в бегах!.. Ни днем тебя нет, ни вечером, даже за стол сесть вместе не можем... Не успеваешь домой прийти, тут же убегаешь!

— Как ты можешь говорить это, Нагимэ? — со злой обидой и недоумением сказал Садык.— Что я, развлекаться бегаю? — И объяснил жене, что ему только что сообщили о докладе и поручили провести парткомиссию.

Нагимэ, конечно, знала, что на мужа всегда наваливались дела. Хотя ее и мучили изредка подозрения, но она глубоко верила ему, понимала, что ничего дурного он себе не позволит. И все-таки, случалось, не выдерживала, в ней поднимался протест против постоянного одиночества. Ведь она так редко видит мужа, всегда у него работа на уме. Работа и работа! А Нагимэ сте-

режет дом, нянчит детей. Разве в этом заключается счастье семейной жизни? Ведь молодость ее проходит в одиночестве. Чувство недовольства, постепенно назревая, иногда прорывалось наружу, и тогда Нагимэ обрушивалась на мужа с упреками, обидами и обвинениями в таких вещах, в которые и сама-то не верила.

Сегодня до этого не дошло. Мешало и присутствие постороннего человека, да и растерянное лицо Садыка сдерживало ее. Пересилив себя, Нагимэ улыбнулась гостю, проводила обоих до дверей и, вернувшись в кабинет, снова принялась за уборку. За короткое время они успели набросать окурков, просыпали пепел. На столе, на книгах лежали обгорелые спички. И так всегда. Соберутся вместе, трое, пятеро, а то и десятеро... Беседуют, советуются, спорят, готовят резолюции, обсуждают тезисы докладов... Комната наполняется сизыми клубами дыма. На полу, на диване, на столе — всюду валяются окурки, обрывки бумаги. А Нагимэ потом чистит, убирает за ними...

«Что же это в самом деле?..» — раздраженно думала Нагимэ, машинально двигаясь от стола к этажерке. Прибила на место диаграмму, повесила свесившиеся за этажерку портреты, подмела пол и, усталая, опустилась на диван:

— Ну, что же, пусть, пусть приходят...

Зазвенел телефон.

— Ты чего не идешь? — кричал в трубку Шаяхмет.— Сейчас начнется самое интересное! Будут допрашивать Салахиева, Иванова, эту самую Александру Сигизмундовну...

Нагимэ сразу забыла про усталость. Умылась, переоделась. Побежала к ребенку, расцеловала его в уже порозовевшие щечки, потом еще повертелась перед зеркалом и, попросив старуху в случае необходимости послать за ней Хасана, побежала в суд.

XXXVII

Процесс продолжался. Закончился первый этап разбирательства, на котором была расследована экономическая сторона дела. Теперь перешли ко второму — политическому. Центральный фигурой здесь предстал Салахиев.

Выступал свидетель Шарафи:

— ...Вскоре в редакцию посыпались резкие корреспонденции. Так, например, Фахри писал нам на клочке бумаги: «Ревизия прошла отлично... Перина — пуховая, четыре курицы... Самогонка — первач. Баня... Свежие березовые веники. За такую ревизию товарищу Салахиеву низкий-пренизкий поклон...»

Нагимэ вошла в зал суда в этот момент его выступления и не сразу разобралась, о чем он говорит.

Шарафи продолжал:

— Я знал Фахри на протяжении многих лет. Мы с ним вместе воевали на фронте в татарской бригаде. По окончании войны партийная организация послала меня в Москву, в институт. Вернувшись сюда, я стал работать в газете, и мы снова стали встречаться с Фахри. В период революционных событий Фахри, раненный на войне, лежал в лазарете, там он и научился грамоте. Нам он писал часто. Разбирать его каракули было нелегко, но зато он умел подмечать наиболее уязвимые стороны жизни деревни, иногда вскрывал очень серьезные гнойники. Его корреспонденции разили как острый нож. Больше всего писал он о совхозе «Хзмэт», о «собаке, которая разлеглась в совхозе». Многие из его заметок я вначале не решался печатать, хотел проверить. Заметки перепечатывали, переводили на русский язык и по одному экземпляру посылали в земотдел и прокуратуру. Но, что бы я ни писал туда, никто никак на эти материалы не реагировал. Меня стало забирать сомнение, и вскоре я почувствовал, что между Салахиевым и Ивановым существует какая-то связь. Думал посоветоваться с Василием Петровичем, но он в тот момент был в Москве, потом уехал отдыхать на Кавказ. Тогда я и решился: «Постой,— сказал я себе,— ты вместе с Фахри прошел кровавый путь войны, вместе с Фахри боролся в первые тяжелые годы за созидание молодой Татарской республики. И сейчас ты должен стоять рядом с ним. У редактора и корреспондента должна быть общая судьба! Ты будешь нести ответственность за все вместе с Фахри. За правду не жалко и жизни!..» И начал я одну за другой выпускать заметки Фахри.

Вот тут и поднялась буря. С одной стороны бушует Салахиев, с другой — Иванов. Утверждают, будто газе-

та преследует спецов, разваливает образцовый совхоз! Конечно, буря всколыхнула и партийные организации, не обошлось без разбирательства в Контрольной комиссии. Салахиев всюду кричал, что это — дешевая демагогия, тайные интриги, групповая борьба!

Однако ничего от этого он не выиграл. Поскольку начался шум, решили послать в «Хзмэт» новую ревизию. Вспомнились старые грехи Салахиева, вроде истории с татарским театром, бухарские события... Ну, чем это кончилось, вам известно, герой перед вами!..

Выступление Шарафи вызвало вопросы. Заседатель, сидевший справа от председателя, спросил у Биганова:

— Что может сказать по поводу этих показаний Федор Кузьмич Иванов?

— Письма из редакции действительно поступили. Они все шли через меня. Я в течение семи месяцев задерживал их, оставлял под спудом. Некоторые сжег. А те, которые сохранились в столе, были изъяты при моем аресте. Они должны быть в деле...

Иванов говорил тихо, спокойно, точно о чем-то постороннем, не имеющем к нему никакого отношения.

Коснулись и упомянутых Шарафи старых историй с Салахиевым. Салахиев сам давал объяснения.

— Все эти разговоры о театре,— сказал он,— выдумка! Пустая сплетня! Лет пятнадцать назад я был суфлером труппы и, не поладив кое с кем, ушел из театра. А мои враги выдумали, будто я во время гастролей театра в Красноярске скрылся с последними восемью рублями труппы. Это — чудовищная сплетня! Клевета! Я не только не украл ничего, в труппе еще остались мой казакин и каляпуш!..

Этот случай был известен многим, и в зале стали перешептываться, посмеиваться, злые языки вспоминали новые подробности... Однако никто не придал ему особого значения. Бухарская история оказалась куда серьезнее.

Организованная в Казани татарская бригада, сражаясь с врагами революции, проследовала за Оренбург в казахские степи и участвовала в кровавых боях казахских бедняков против контрреволюционной Алаш-орды, затем двинулась в Среднюю Азию и пролила немало

крови, воюя бок о бок с революционными бухарцами против эмира.

В рядах татарской бригады был и Салахиев. Когда бухарский феодализм был сокрушен и эмир бежал, выяснилось, что Салахиев совершил большое военное преступление. Он предстал перед судом реввоентрибунала. Распространились слухи, что его приговорили к расстрелу. Но в это время полки бригады были переброшены через Ташкент на Семиреченский фронт. Салахиева не расстреляли, он остался в тюрьме. Исключенный тогда из партии, он долгое время был беспартийным.

Это событие оставило в жизни Салахиева тяжелый след, мучило его незаживающей, глубокой раной. Оно всплывало во время чистки партии, ворошилось при каждом случае выдвижения его кандидатуры на какую-либо работу. И теперь, на суде, когда затронули ту же историю, Салахиев резко воскликнул:

— Нет, нет! Это было подстроено! И тогда я стал жертвой интриг!

Он снова вернулся к групповой борьбе «Четырнадцати» и «Двадцати четырех». Снова приплел имена Гайнетдинова и Шарафи, пытаясь изобразить их организаторами многолетней травли против него. Но чем больше Салахиев кипятился, тем менее убедительными казались его доводы, а бухарский эпизод уже представлялся всем присутствующим решающим фактором его жизненного пути.

— Я бы предложил допросить по этому вопросу Гайнетдинова,— обратился второй заседатель к судье Биганову.

Метранпаж встал и в нескольких словах опрокинул обвинение, воздвигнутое Салахиевым.

— Дело обстояло так,— начал он возмущенно.— Когда Салахиев попал в ревтрибунал, я был на колчаковском фронте, в Пятой армии. Позже, по приказу Фрунзе, меня перевели на Туркестанский фронт, в Среднюю Азию. Салахиев же в это время был уже давно исключен из партии. Как же я мог, будучи в Сибири, вмешиваться в дела, которые происходили в Бухаре? Это — первая ложь Салахиева! Он тут впутывает и товарища Шарафи,— продолжал Гайнетдинов после небольшой паузы.— Шарафи же впервые был послан из Москвы в Туркестан специальным восточным поездом в двадцатом году. Ко-

гда Салахиева предали суду ревтрибунала, Шарафи еще и ногой не ступал на землю Средней Азии. Он присоединился к нашей бригаде только в Семиречье. Как же в таком случае Шарафи мог быть причастен к аресту Салахиева?! Это — вторая ложь! Верно,— прибавил, усмехнувшись, Гайнетдинов,— я постоянно выступал против Салахиева. Но никак не с позиций групповой борьбы «Четырнадцати» или «Двадцати четырех». Просто я не скрывал от него своего мнения о нем: всегда повторял, что не считаю его большевиком! При чем же здесь группы?

XXXVIII

Как говорится, была беда с копенку, стала со скирду.

Еще не улеглись страсти после разбора истории с похищенными деньгами, бухарского дела, ревизии совхоза, как по просьбе прокурора вызвали свидетельницу Александру Сигизмундовну — жену подсудимого Иванова.

Ее появление вызвало огромный интерес в зале. Когда-то ходили слухи, что в девятнадцатом году, желая спасти арестованного мужа, она путалась с Салахиевым. Потом это забылось, но на татарском базаре возникли новые разговоры о любовной связи Александры Сигизмундовны с Вали-баем и даже с его сыном, красавцем спортсменом Мустафой. Затем она вышла замуж за Иванова, но ни с Хасановыми, ни с Салахиевыми дружбы не порвала, наоборот — свела и мужа и бывших любовников в общий тесный круг.

С мужем она, казалось, жила в полном согласии и любви. А когда его арестовали, произошло событие, которое поразило всех: женщина в ту же ночь исчезла. Ни друзья, ни родственники не ведали, что с ней случилось. Но, зная ее крайнюю неуравновешенность, болезненную пугливость, решили, что арест мужа настолько потряс ее, что она могла покончить с собой, броситься в воду...

Однако они ошиблись. На одиннадцатый день после ареста мужа Александра Сигизмундовна пришла к Паларусову.

— Я жена Иванова. Могу многое рассказать вам, — решительно заявила эта женщина. Она-то и раскрыла глубоко запрятанные корни преступления.

Закончив допрос, Паларусов спросил у нее:

— Скажите, а чем объяснить, что вы сначала скрылись, а теперь сами разоблачили их?

— Я боялась, что с ума сойду... Моего первого мужа, которого я обожала, с которым прожила всего три месяца, в девятнадцатом году расстреляла казанская губчека. В списке расстрелянных офицеров вы, наверное, увидите и Казимира Вишневского. Это он... После его расстрела я надолго слегла. И страх, кажется, навсегда вселился в мое сердце. При одном слове «Чека» я теряла сознание. Неожиданный стук в дверь приводил меня в ужас. Сколько лет я прожила с Ивановым, а страх все равно не отпускал меня. Когда ночью пришли к нам с обыском и увели Иванова в тюрьму, я чуть не лишилась рассудка. И, ничего не соображая, тут же уехала в Москву к старшей сестре. Бежала, чтобы спастись, скрыться от всего. Но куда скроешься? И как скроешься от самой себя? Сестра успокоила меня и привезла обратно.

«Так жить нельзя, — сказала она мне. — Иди и откройся во всем. Расстреляют так расстреляют, а нет — будешь жить со спокойным сердцем». Я согласилась. Больше носить в себе этот страх я была не в силах. «Будь что будет!» — решила я и вот пришла к вам.

Эти же слова женщина повторила и на суде. Допрос ее давал возможность обнаружить все тайные пружины взаимоотношений подсудимых, на нее со всех сторон посыпались вопросы, а она, как ни была измучена, отвечала четко, полно, точно с каждым словом сбрасывала часть давящего ее груза.

— Как практически осуществлялась связь между Салахиевым, Ивановым и Вали Хасановым?

— Я расскажу один эпизод, и вам станет понятно все... Был голодный год. Нечего было есть, нечем топить комнату. А незадолго перед этим у меня родился ребенок. Вот тогда зашел к нам Вали Усманович. Он пожурил нас, что не обратились к нему за помощью.

«Наладится жизнь, вернете», — сказал он и в тот же день привез две сажени дров, мешок пшеничной муки, четыре фунта масла, одиннадцать фунтов рису. Увидев все это, мой муж переменился в лице, хотел выкинуть все в окно, но, пошумев, пометавшись, весь в слезах бросился на кровать и уткнулся лицом в подушку. «Беру только ради ребенка, только ради ребенка, — повторял

он. — Как получу деньги, расплачусь сейчас же, в ту же минуту...» Он даже завел особую тетрадь...

— На какую сумму вы всего этого получили?

— За полтора месяца муж записал на двадцать четыре миллиарда. А потом уже перестали записывать.

— Что же еще было получено?

— Много. Мне ко дню рождения Вали Усманович подарил бриллиантовые серьги. Мужу, по случаю именин,— прекрасный драп на пальто. Летом Федя взял у него китайской чесучи на костюм. В зимние холода Вали Усманович преподнес мне каракулевый сак. И еще много-много всего...

Прокурор торжествовал:

— Какую роль играл в этой истории Ахмет Салахиев?

Свидетельница, не задумываясь, стала рассказывать:

— Салахиев был давно знаком с моим мужем. Он захаживал к нам. Как-то на пасху встретился у нас с Вали Усмановичем. Выпили, потом сели играть в карты. Я была поражена замечательной игрой Вали Усмановича. Посмеиваясь, поговаривая, что Салахиева должны любить женщины, он выиграл у него червонцев десять. На прощанье предложил ему попытать счастье в другой раз. Салахиев проиграл и в следующую встречу. Потом, желая отыграться, пришел еще. Так и началось. Со временем Салахиев не только вернул свои деньги, но стал выигрывать у Вали Усмановича крупные суммы.

Прокурор задал еще вопрос:

— А что Иванов с Салахиевым делали для Вали Хасанова?

— О, очень много! Вали Усманович попался на черной бирже с бриллиантами. Все были уверены, что его ждут Соловки, но Салахиев нажал где-то, и Вали Усманович был спасен. В свое время в передаче ему по низкой цене кожевенного завода решающее значение имело слово моего мужа. Только благодаря Иванову и Салахиеву получил Хасанов высокую должность в совхозе и, несмотря на постоянные сигналы, держался там годами... Материалы, поступавшие из Байрака в прокуратуру, попадали к нам на квартиру. Часть из них я сожгла, остальное забрали при обыске.

Показания свидетельницы закончились. Люди в зале не могли прийти в себя от изумления и, казалось, спра-

шивали, переводя взгляд с Александры Сигизмундовны на судью: «Возможно ли? Не во сне ли мы это слышали?»

«Рехнулась, несомненно, рехнулась от страха!» — думал Мустафа, с ненавистью глядя на женщину.

Вали Хасанов сидел словно пригвожденный к стулу.

«Погубила, сука! Бывают же бесстыжие! Вот корми таких, одевай их в шелка!»

XXXIX

Не было границ и возмущению старого защитника Арджанова. Он хорошо знал отца свидетельницы,— когда-то они оба вращались в кругу либеральных адвокатов, и Арджанов не очень-то его жаловал.

«Так, так! Яблочко от яблони недалеко падает. Эта дрянь пошла по стопам отца. Тогда, чтобы спасти любовника, готова была продать чекистам свою честь, а теперь, чтобы спасти себя, губит двух замечательных коммунистов и старого мецената!» — Арджанов приготовился к контрнаступлению и, не теряя ни минуты, обратился к суду:

— Я прошу пригласить свидетеля Худжабаева Низами!

То было право защитника, и председатель не стал возражать ему. В это мгновение произошла трагическая сцена, оставшаяся незамеченной многими. Председатель уже хотел дать распоряжение ввести нового свидетеля, как у него вдруг запершило в горле, он откашлялся и увидел, что платок весь окрасился кровью. Это с ним случалось не впервые. Оттого врачи и требовали немедленного его отъезда в санаторий. Товарищи тоже видели, что положение тревожно. Гайфуллин, к которому до начала процесса он заходил с докладом, сказал, вглядываясь в его лицо:

— Видимо, у вас плоховато со здоровьем. Может быть, поручим ведение этого процесса кому-нибудь еще. Конечно, было бы очень желательно, чтобы такое сложное дело вели вы сами, как председатель Главсуда, но если положение катастрофическое, назначим другого председателя.

Биганов, однако, не нашел возможным воспользо-

ваться предложением Гайфуллина. Он считал, что обязан лично председательствовать на серьезном процессе и сейчас, увидев кровь на платке, испугался. «Лишь бы выдержать, лишь бы не свалиться с ног!» — думал он, прижимая платок к губам. К счастью, крови на платке было немного.

«Ничего, выдержу!» — решил он и, позвонив в колокольчик, чтобы успокоить расшумевшийся зал, велел ввести свидетеля Низами Худжабаева.

Вошел довольно тучный крестьянин с толстой, красной шеей.

Председатель, как обычно, напомнил ему о необходимости говорить только правду и спросил:

— Что вы знаете по этому делу?

Глядя на председателя покорным взглядом, Низами ответил:

— Что знаю? Да вот Фахри и Вали-бая давно знаю!

Арджанов уже терял терпение. Он хотел с помощью этого свидетеля рассеять мрачное впечатление, произведенное показаниями Александры Сигизмундовны, и, взяв разрешение, стал задавать наводящие вопросы:

— С каких пор вы знаете Вали Хасанова и при каких обстоятельствах сталкивались с ним?

— Прежде верстах в десяти от нашей деревни было у Вали-бая имение: земля, леса, хозяйство. Он купил его у разорившихся наследников одного русского помещика. Каждое лето бай жил там и по пятницам приезжал к нам в Шелангу молиться в мечеть. Лошадей ставил на постой у меня во дворе. С тех пор и знаю его...

Ответ не удовлетворил защитника. Он спросил:

— Не было ли у Хасанова других дел в Шеланге?

Низами сообразил, что его наталкивают на определенный ответ.

— Как же! Однажды после моленья деревенские старики сказали Вали-баю: «Аллах дал тебе большое богатство. В городе — что ни улица — твои магазины. И здесь землям твоим конца-краю нет. Открой нам школу, чтобы детей наших вере да грамоте учить. Будем вечно молиться за тебя».— «Вы знаете,— ответил им бай,— какую напраслину возвели на меня враги. Я только что из Петербурга. Денег потратил несчетно. Через генерала

Чингиза обратились мы к самому Распутину, чтобы передал он царю прошение о помиловании. Ежели спасусь благополучно от этой напасти, обновлю вашу мечеть, построю большую школу и приму на себя ее содержание. Молитесь за меня!» Все, кто был там, от души помолились... А через две недели пришла телеграмма с сообщением о помиловании. Вали-бай вскорости же принялся за мечеть, начал строить каменную школу. Когда уезжал в город, все дела мне, как верному человеку, поручал. Я и следил за стройкой до самого конца. Потом и деньги на школу через меня передавал. Школа была из двух отделений, начальное и среднее. Учителей было семь человек... Вот так я и знаю Вали-бая...

Низами замолчал. Он весь взмок от долгой, заранее затверженной речи и стал вытирать платком жирное лицо. Он думал, что уже отделался, но Арджанов снова начал задавать ему вопросы:

— Как жил Вали Хасанов в голодные годы?

— Как ему было жить? Всей семьей теснились в одной комнате, и та почти не отапливалась. А кормились они с моей помощью.

— Каким это образом?

— Я часто ездил в город. Вали-бай давал мне спичек, керосину, соли. Бывало, даст и несколько аршин товару на платье или на бешмет. Я обменивал все это у крестьян на хлеб, муку, крупу и доставлял в город...

Целью Арджанова было опрокинуть показания свидетельницы Александры Сигизмундовны. Он продолжал спрашивать:

— Привозили вы пшеничную муку?

— Нет.

— Рис привозили?

— Нет.

— Десять фунтов сливочного масла?

— Нет.

— Чем же они питались?

— Чем же еще! Ржаным хлебом пополам с овсяными отрубями. С него и захворал желудком.

С последним вопросом старый адвокат обратился, с разрешения судьи, к Вали Хасанову:

— Как же это получилось, что вы довели себя плохим питанием до болезни, а для Ивановых и Салахиевых доставали и хорошую муку, и рис, и масло? Ваша семья

жила в нетопленной комнате, а чтобы согреть жену и ребенка Иванова, вы привозили им две сажени дров? Откуда вы все это брали?

Зал с напряжением выслушал вопросы и с напряжением же ожидал ответа. Вали медленно поднялся и начал говорить. Многое из показаний Александры Сигизмундовны он попытался свести на нет, многое представил незначительным, преувеличенным ею: то, мол, что было с пуговку, она превратила в верблюда.

— Где уж было людей угощать? Сам тогда чуть с голоду не помер.

Заседание шло своим чередом, как вдруг в коридоре послышался шум. Это явились делегации от крестьян Акташа и Шеланги, от татарского полка.

— Пустите нас в суд! — требовали они. — Мы просим слова! Нас послали, чтобы мы разоблачили подлинное лицо Вали Хасанова!

Они принесли с собой резолюции собраний. В резолюциях говорилось: «В прежнее время Вали Хасанов был кровопийцей, в советское время стал контрой. Наказание должно быть самым суровым. Таким, как он, нет места под солнцем!»

Уже с самого начала процесса в суд беспрестанно поступали письма от рабкоров, селькоров, военкоров. Писали с заводов, из деревень, из красноармейских казарм. Во всех письмах и резолюциях говорилось одно и то же:

«Фахри был героем-коммунаром нашей селькоровской армии. Требуем для убийц высшей меры социальной защиты!»

Председатель суда дал секретарю распоряжение отсылать копии всех писем в газету. Однако некоторых это не удовлетворяло. Вот и сейчас делегаты Шеланги и Акташа настаивали на том, чтобы их допустили на заседание, просили слова. Председатель, переговорив с заседателями, сказал коменданту:

— Разъясните им, что по кодексу во время процесса никаким делегациям выступать на суде не разрешается! Передайте, что копии представленных ими материалов будут немедленно отправлены в печать.

Нарушенное было течение процесса вновь вошло в свое русло.

XL

В зал ввели свидетельиицу стряпуху Минзифу.

Старуха в ожидании вызова то тряслась от страха, то преисполиялась храбрости и собиралась выложить все, что было у нее на душе.

— Расскажу, все расскажу! — взвиичивала оиа себя.— И про то, как из-за ехидиой иевестки ездила в деревию за хлебом. И про бунт в Акташе, про такбир. И хазрета, скажу, там видела, и Гимади. Расскажу, как убили учителя и пария, который был на Шаяхмета похож... Не забуду и про то, как с Низами в город ехали, как иас обыскивали и иашли второй иастил в саиях, как взрезали хомут и оттуда посыпались иколаевские кредитки. Все, все выложу, ничего ие утаю!

Но когда ее привели в зал, битком набитый людьми, у иее потемиело в глазах, и все слова, которые она собиралась сказать, вылетели из памяти, точио горох их худого мешка. Словио сквозь тумаи видела старушка стол иа возвышеиии, за столом худого человека с колокольчиком в руках. Вот он очеиь мягко спросил у иее:

— Кто приезжал к Вали Хасаиову, когда вы жили в совхозе «Хзмэт»?

У старухи помутилось в голове. Зал будто покачиулся и поплыл вверх. Оиа удержалась иа иогах, ио ие могла выговорить ии слова.

Тогда председатель поставил вопрос по-иному:

— Знаете ли вы Низаметдииа Худжабаева?

Старушка, кажется, стала приходить в себя:

— Это ты про Низами спрашиваешь? Зиаю, как ие зиать. Я его давио зиаю.

— В совхоз ои зачем приезжал?

— Кобыл приводил для случки. На время уводил от нас быков да бараиов. Весиой за хорошими семенами приезжал. И просто так иаведывался. И еще лес в совхозе брал. Машииы тоже. Все брал, что ему иадобно было...

— Еще кто приезжал? Бывал ли домулла Фаридельгасри?

— Это хазрет, что ли? Бывал.

— Что он делал у вас? Чай пил? Или водку?

— Водки ие видела. Греха на душу ие возьму. А чаю

много пили. Самоваров столько ставила, что и не счесть.

— Еще кто приезжал?

— Других не знаю. Всякие приезжали, не то русские, не то мусульмане — не разберешь. Ночевать оставались. Я для них кур варила. Баню топила...

У прокурора тоже был вопрос к свидетельнице. Указав на сидевшего под стражей Салахиева, он спросил у старухи:

— Узнаете ли этого человека?

Та даже вздрогнула, будто перед ней появилось привидение.

— Узнаю, сынок, узнаю! Я для него четыре курицы сварила. И веник березовый в лесу наломала...

На этом допрос старухи окончился. Председатель отпустил ее, и она тут же примостилась в зале, чтобы послушать других.

Арджанова интересовало: явится свидетель домулла Фаридельгасри или нет. Секретарю пришлось дать разъяснение:

— Домулла известил суд, что задерживается в Москве. Там сейчас идет совещание крестьянских комитетов взаимопомощи, и председатель ЦИКа Калинин, занятый на совещании, не может пока принять муфтия, с домуллой. Поэтому домулла вынужден задержаться.

Адвокату было необходимо свидетельское показание домуллы, и он обратился к председателю:

— Я прошу огласить письменное показание домуллы Фаридельгасри. Оно — в третьем томе дела на четыреста девяносто первой странице. Там мы найдем объяснение, почему домулла приезжал в совхоз к Вали Хасанову.

Документ огласили. Он был написан витиеватым слогом, со множеством арабских слов и по старой орфографии. Домулла писал:

«Мухаммедвали-эфенди[1] является нашим близким другом. Во времена былые он совершал неизмеримые благодеяния во имя священной религии и нации. Лишь одному аллаху ведомо, сколько великодушных деяний сотворила его щедрая рука. Он чинил дороги, рыл колод-

[1] Мухаммедвали — полное имя Вали Хасанова; эфенди — господин.

цы, строил медресе, мектебы, воздвигал мечети. Как и подобает истинному сына ислама, он был радушен и гостеприимен. Когда досточтимое советское правительство оказало ему честь — послало его трудиться на Волгу, на исконные земли наших предков, я счел себя обязанным посетить его на новом местопребывании. Угостившись чаем, мы вместе с человеком по имени Гимадетдин совершили прогулку по окрестностям Волги. Там я сподобился лицезреть новое селение Байрак, которое милостью досточтимого советского правительства получило возможность расположиться на древней земле своих предков. И возликовала моя душа. Пал я ниц на священную землю и воздал со слезами молитву милосердному аллаху за его великую благостыню.

Изложил все известное мне. Да пребудем в благонравии и справедливости.

Слуга бедных — домулла Фаридельгасри. Месяц зульхиджа»[1].

Ответственный переводчик Исхак Зарипов перевел текст показания домуллы на русский язык. Продолжалось расследование политических мотивов преступления. В зал заседания пригласили Садыка Минлебаева. Он был измучен, издерган неполадками на заводе и невольно злился на то, что его отрывают от дел. Но в зал он вошел, как всегда, подтянутый, и только суровый взгляд выдавал его напряженное состояние. Когда он, держа в одной руке портфель, в другой кепку, проходил на свидетельское место, взоры всех — и публики, и судей, и обвиняемых — были устремлены на него. В глазах Салахиева — была лютая ненависть, он, казалось, готов был прожечь Садыка взглядом.

«Разве подобные люди могут быть свидетелями?!» — хотелось ему крикнуть.

На вопрос председателя — что он знает о Вали Хасанове, Садык неторопливо ответил:

— На границе прифронтовой полосы в наши руки попали двое. Одного из них расстреляли. Другой, переодевшись в крестьянскую одежду, сбежал к колчаковцам. Он сидит перед вами. Вот и все, что я знаю о нем.

Садык надеялся, что его задержат недолго и он сможет вернуться к прерванной работе. Но чем дальше, тем

[1] Название одного из месяцев по мусульманскому исчислению.

больше засыпали его вопросами — и председатель, и заседатели, и прокурор, и защитники, и даже сами подсудимые. И он не без труда прорывался сквозь обрушившийся на него шквал вопросов.

Салахиев же едва осознавал то, что говорил Садык. Голова у него была словно в огне. Злоба, вспыхнувшая в нем при появлении Садыка, не переставала жечь его. В мыслях его перепуталось все — прошлое, настоящее...

XLI

Эти два коммуниста давно знали друг друга. Салахиев одно время даже был сторонником Садыка. Особенно рьяно поддерживал он его, когда начались дискуссии о том, нужно ли создавать Татарскую республику. На конференции в одном из уездов обсуждение приняло слишком бурный характер. Противники республики твердили, что республика не нужна, что это выдумки националистов, противоречащие идеям интернационализма.

Садык, посланный на конференцию из центра, один начал борьбу против оппозиции. Вскоре ему удалось склонить на свою сторону большинство делегатов и добиться решения об отозвании из уезда двух коммунистов, которые в своем противодействии созданию республики стали на путь откровенных интриг.

Но дело этим не кончилось. Когда Минлебаев возвратился и сделал доклад в партийной организации, его метод нашли неправильным. Теперь Садыку пришлось схватиться с большинством в партийном руководстве. Тех двух коммунистов направили обратно в уезд, а Садыка, как неуживчивого, послали в Москву в распоряжение Центрального Комитета. В Москве внимательно выслушали Садыка, проверили все представленные им материалы и на пятой неделе пребывания его там велели ехать на прежнюю свою работу.

Вот в этот период острых столкновений Салахиев всем сердцем был на стороне Садыка. Поддерживал он его и в спорах по поводу создания татарской бригады.

Но с тех пор утекло много воды. Салахиев отвернулся от своего героя. Он не мог примириться с его резкостью, а расстрел, учиненный Гайнетдиновым по распоряжению Садыка, поставил Салахиева в лагерь прямых

его противников. И когда после убийства Фахри Садыка арестовали, Салахиев в душе даже порадовался этому.

«Значит, я умею разбираться в людях»,— подумал он.

Но неожиданное заключение в тюрьму его самого и вести, поступавшие к нему с воли, ввергли Салахиева в полное смятение.

Что же это? Явь или сон? Неужели одиночество, узкая тюремная камера с кованой дверью лишили его рассудка? Можно ли верить тому, что рассказывал ему один его друг во время свидания?

А рассказал он вот что.

Директор завода имени большевика Хусаина Ямашева серьезно заболел. Да и стар он стал. Завод оказался на грани полного развала. Тогда-то секретарь партийной организации вызвал только что освобожденного из тюрьмы Садыка и сказал ему:

— Завтра на заседании бюро слушается доклад о заводе Ямашева. Будем назначать нового директора. На эту работу секретариат рекомендует твою кандидатуру. Готовься к приему завода.

Минлебаев отчаянно противился, спорил.

— Я не справлюсь. Ведь завод на последнем издыхании!

Он доказывал, настаивал, но в конце концов подчинился. Ему обещали всемерную помощь и партийных и советских органов, рабочих организаций и назначили директором. Теперь Садык день и ночь крутится, чтобы спасти этот тонущий корабль.

Тот, кто рассказывал об этом Салахиеву, добавил еще:

— Он по-прежнему лезет во все дела. Дешевой демагогией пытается завоевать авторитет у рабочих. Только вчера на заседании горисполкома камня на камне не оставил от коммунхоза: говорит, что государственные средства поглощаются центром, а на рабочих окраинах, как и раньше, непролазная грязь, по вечерам улицы почти не освещаются. Дороги не ремонтируются, весной и летом по ним не пройти...

Рассказ об этом привел Салахиева в ярость. Он не мог без злобы думать о Садыке и, конечно, даже на миг не представлял себе, что встретится с ним в зале суда. Салахиев был абсолютно убежден, что совершается не-

что противное закону, но, чувствуя свое бессилие, сидел в каком-то тяжком оцепенении.

В сущности, Садык и сам был против выступления свидетелем в этом процессе. С одной стороны, на него навалилась слишком тяжелая и ответственная работа, и ему трудно было выкроить время, чтобы ходить на заседания суда. С другой — ведь его самого не так уж давно арестовывали по этому делу, а теперь пригласили свидетелем! Ссылаясь на это, Садык хотел остаться в стороне, но прокурор и слышать не хотел об отказе.

— Обвинение и арест Миилебаева,— заявил он,— были недоразумением. Это же ясно как день. И нет причин, которые с точки зрения закона могли бы мешать его выступлению на суде в качестве свидетеля.

Салахиев, разумеется, не знал и не слышал о возникших по этому поводу разговорах, но, если бы и слышал, он бы не понял их, не захотел бы понять. Точно огненные искры падали на него слова:

— ...Прифронтовая полоса... Попались... Одного расстреляли... Другой бежал к колчаковцам... Вот он перед вами...— Они обжигали его, у него пересохло в горле, перехватило дыхание, а Садык, даже не замечая Салахиева, отвечал на сыпавшиеся на него с разных сторон вопросы...

XLII

Черная, мутная волна колчаковщины надвигалась на Волгу. До Казани оставалось всего восемьдесят верст. Над значительной частью территории теперешнего Татарстана грохотали колчаковские пушки, без умолку трещали пулеметы. Белые намеревались переправиться через реку Вятку и стремительным штурмом взять Казань. В это самое время партийная организация послала Садыка во главе рабочего батальона на передовую линию фронта в распоряжение двадцать восьмой дивизии, которой командовал Азин. Колчак, несмотря на весенний разлив, беспрерывно бросал свои войска на форсирование Вятки. Наши части в кровопролитных боях отбрасывали двигавшиеся лавиной банды. Таяли снега. Низко над головами ползли дождевые тучи. Даже мелкие речушки превратились в бурные потоки. У красноармейцев не было одежды, провиант задерживался. Почти во всех

окрестных деревнях зашевелились кулаки, пытаясь восстаниями подорвать тыл. Исчезали верные советские люди. Гибли посланные в разведку красноармейцы. Полк, в который влился рабочий батальон, уже двое суток вел кровавые бои под шквальным огнем — без еды, без хлеба, без минуты передышки, и дважды, когда, казалось, враг вот-вот прорвется, опрокидывал его, отбрасывал на тот берег Вятки.

В такой напряженный момент в штаб полка к Садыку ввалился Шарафи с товарищем-красноармейцем. Он был по пояс в грязи, в сапогах хлюпала вода. Лицо исхудало, глаза ввалились. Не лучше выглядел и его товарищ. Одетый в рваную шинель, обутый в лапти, он едва стоял на ногах от голода. У них была одна винтовка на двоих и та без патронов...

Садык давно знал Шарафи. При чехах они вместе сидели в казанской тюрьме и остались живы потому лишь, что те не успели их расстрелять.

— Что случилось? Что с тобой? — удивленно встретил его Садык.

— Дай нам из вашего полка несколько человек с винтовками и патронами.

— Для чего?..

Шарафи рассказал ему.

Габдулла-хазрет в свое время пользовался широкой славой. Имя зиреклинского ишана было известно всему татарскому миру. Весной и осенью, зимой и летом непрерывным потоком стекались к нему из ближних и дальних краев — из Сибири, Петербурга, Касимова, Астрахани, Оренбурга, Красноярска — паломники-мюриды и больные, жаждущие исцеления, а вместе с больными и мюридами текли в дом ишана дары, приношения, подаяния.

«Даяние не измеряется тем — большое оно или малое»,— говорил ишан и, помолясь, клал в карман все, что ему давали... А давали ему старинные копейки, и пробитые серебряные монеты, и золотые десятирублевки, и двадцатипятирублевые кредитки... Несли ему в дар енотовые шубы, атласные чапаны, пригоняли упряжки лошадей. Если верить ишану, был он далек от земных мыслей и дел. Ничто мирское не заботило его. Но мир-

ское добро, богатство завалило его, засыпало. Вначале, когда он завел первых мюридов, у него не было ничего, кроме маленького домика. Через семь лет он взял вторую жену и, памятуя веление шариата о справедливом, равном отношении к женам, расширил двор, построил для нее отдельный дом.

В пятьдесят лет у ишана появилась третья жена. И ее, разумеется, нельзя было обделить вниманием. Построил ишан и для нее дом, хоть и пришлось для этого переселить бедняка соседа на край деревни. Только не повезло ишану с этой женой. Оказалась она женщиной вздорной, лишенной всякого благочестия. Видя, что не поддается она его благому воздействию, отправил ишан жену со всем ее приданым обратно к родителям и взял вместо нее молоденькую вдову. А тут умерла от родов вторая жена ишана. И вскоре же преставился один из его мюридов, Сэлим-бай. Стали нахваливать ишану вдову Сэлим-бая: мол, жалко упускать достойную женщину. Не решился ишан обидеть мюридов отказом, женился на молоденькой вдове и поселил ее в опустевшем было доме. Думал ишан, что на этом завершилась его судьба, что он уже получил все, ему предписанное. Но, видимо, еще не иссякла его доля на земле. Поехал ишан в соседнюю деревню в гости к небогатому, но верному мюриду Насыбулле. И увидел в его доме красивейшую девушку. Запала дума о ней в душу ишана, пробудила в нем сомнение.

«Была ли эта встреча знамением аллаха или наущением шайтана?»— раздумывал ишан. Три дня и три ночи думал он об этом, а готовясь ко сну, читал особые молитвы, загадывая, не привидится ли ответ в его снах. И три ночи подряд видел ишан во сне окруженную сиянием, стыдливо улыбающуюся девушку. Тогда он пришел к твердому убеждению: «Знамение аллаха».

А было ишану в ту пору семьдесят лет. Призвал он к себе Насыбуллу, рассказал обо всем. Не утаил, что были у него сомнения и что трижды встречал он ночь особыми молитвами и уверовал, что дочь его предназначена ему самим аллахом.

Насыбулла был мюридом преданным. С глубоким волнением, с радостью выслушал он ишана.

«Будет противиться... Но коли держаться с ней по-

тверже, не ослушается»,— решил он и, возвратясь домой, поручил переговоры с дочерью старшей своей сестре.

Сначала девушка даже не поверила услышанному.

— Не может быть! — расхохоталась она.— Что я с ним буду делать?

Однако после долгих уговоров стала склоняться к тому, что напевала ей тетка-сваха.

«И вправду! — размышляла девушка.— Ведь джигиты на германскую войну ушли! И невесть когда вернутся! Да вернутся ли еще, может, все там полягут?» А тетушке своей сказала:

— Не знаю уж, как и быть, пускай отец сам решает...

Четвертой жене зиреклинского ишана Каримэ сровнялось всего семнадцать лет. Пришлось и ей поставить дом. Теперь душа хазрета обрела покой. Отрешившись от всех мирных дел, он целиком отдался молитвам, прославлению всемогущего аллаха. Мюриды всюду и везде рассказывали о его неусыпных молениях, и пошли в народе говорить об ишане, что он-де совершает не только положенные и неположенные дневные намазы, но и ночи посвящает им, творит, возносясь всеми помыслами к аллаху, семьдесят ракятов — семьдесят поясных и семьдесят земных поклонов. В рамазан — месяц поста — он каждый день поднимается задолго до рассвета и снова отдается молитвам; четырежды в этот священный месяц прочитывает он Коран от первой до последней суры[1], а когда до конца поста остается три дня, уходит на это время в мечеть для душеспасительного уединения. С благоговением передавали люди друг другу, что ишан никогда не выпускает из рук четок и что уже сорок лет каждый день сто тысяч раз воздает аллаху славу — повторяет: «Ля иляхэ ильляллах...»[2] А время-де, остающееся от столь подвижнического благочестия, ишан проводит с мюридами, с больными. Он врачует больных заклинаниями, заговоренной водой... С мюридами же ведет долгие беседы, испытывает их. В зависимости от того, сколь они ревностны и усердны, назначает им новые искусы — моления, моления и мо-

[1] Сура — глава Корана.

[2] Формула Корана: «Нет бога, кроме бога...»

ления, дабы мюриды отрешились от всего земного, дабы все их помыслы были обращены к единому аллаху и в прославлении его забыли они и о себе, и обо всех мирских делах. Всей душой, всем сердцем должны мюриды стремиться к аллаху, а неусыпные моления — это ступени к нему!

Со свершением Октябрьской революции слава Габдуллы-ишана вдруг возросла еще больше. Даже просвещенные баи, которые недавно еще поносили его, называя «мракобесом, разбогатевшим на продаже четок, паразитом на теле нации», даже они склонились теперь перед ним, заделались мюридами, испрашивали его благословения. Среди мюридов Габдуллы-ишана оказался и Вали-бай.

У ишана было четверо сыновей. Самый старший из них стал главным мюридом. Человек крайне набожный, он готовился после смерти отца занять его место. Трое же остальных были еще юны, только входили в пору джигитства. Не захотели они оставаться с отцом. Уже Февральская революция надоумила их, что корабль старика непременно наскочит на риф, и, чтобы не пойти вместе с ним ко дну, бросили они отчий дом, выбрали себе свой путь. Проклял их ишан.

— Они отступили от пути истины и лишились вечного блаженства! — вещал он.— Наступит Судный день, и не будет простерта над ними длань заступника мусульман — пророка Мухаммеда!

Проклиная сыновей, ишан предавал проклятью и революцию и Советы. В мечетях, на званых обедах — всюду, где ему приходилось бывать, он откровенно призывал:

— Знайте, верные сыны ислама, что свершилось то, о чем предвозвестил нас великий пророк Мухаммед, избранник аллаха! Советы и большевики — это бедствие, ниспосланное на нас аллахом за грехи наши. Знайте, мусульмане, если мы не покаемся всеусердно в грехах, если мы не возвратимся на завещанный нам путь истины, если Советы и большевики одержат победу — вера наша будет поругана, уничтожена! Людей, творящих молитву, ожидает смерть. Большевики низвергнут Коран в прах, растопчут его. Мечети обратят в конюшни. Окрестят детей, обесчестят жен. Знайте, сыны ислама, война против проклятых аллахом большевиков — священна!

Стать воином в этой войне — долг каждого правоверного мусульманина! Кто погибнет на этом пути — будет шехидом, праведником, падшим за веру, и будет ему уготовано место в раю...

Имя Габдуллы-ишана стало знаменем в тех краях для всех темных дел. Вокруг ишана скапливались, копошились какие-то подозрительные люди. Шарафи, приехав на фронт, сразу почувствовал это. Он пытался говорить о нем в волисполкоме, в сельсовете, но ничего не добился.

— Ишан слишком популярен. Окрестные крестьяне-татары видят в нем святого чудотворца. Если мы его тронем, татарские деревни поднимутся против Советов, начнутся восстания, а это будет на руку Колчаку,— сказали ему.

Впоследствии стало известно, что волисполком и сельсовет были в полной зависимости от мюридов зиреклинского ишана и, что бы ни случилось, немедленно бежали сообщить ишану и принимали меры для его защиты.

Из-за этого зиреклинского ишана и пробрался Шарафи с красноармейцем в штаб к Минлебаеву,— чтобы справиться с ишаном, были нужны люди, оружие.

Минлебаев, выслушав Шарафи, вызвал Гайнетдинова.

— Слушай, Шамси,— сказал он ему,— бери двух красноармейцев, винтовки, патроны и отправляйся с ними в деревню Зирекле. Делай, что найдешь нужным.

И вот в самый разлив рек, проваливаясь в воду, разгребая грязь, добрались джигиты до Зирекле и, не заходя ни в волисполком, ни в сельсовет, осадили дом ишана.

Сам ишан лежал в постели не то в самом деле больной, не то притворясь больным. Возле него переодетые крестьянами сидели Вали-бай и какой-то молодой татарин-прапорщик.

XLIII

Вали Хасанов старался казаться спокойным. На вопрос, зачем он приехал к ишану, ответил:

— Мы теперь в деревне живем. Дома в городе у нас отняли. Услышал я о болезни хазрета и вот зашел проведать его.

Прапорщик же оказался казанским. По его словам, он был в Москве и там его попросили передать посылку — подарок ишану.

Никто, конечно, их словам не поверил. Один из вооруженных красноармейцев остался около них, остальные принялись обыскивать дома, дворовые постройки. Будто коршун врезался в галочью стаю или ворвался в овчарню волк — так всполошились при виде вооруженных людей домочадцы ишана. Кто плакал, кто проклинал, угрожал. И во всей этой сумятице только один человек сохранил спокойствие — четвертая жена ишана Каримэ. То ли рехнулась она, то ли действительно обрадовалась, но как только увидела, что начинается обыск, вынула, порывшись в пуховиках, связки ключей и сама стала помогать обыскивать.

Сначала осмотрели застланный коврами большой зал. По углам стояли шкафы с толстыми книгами в зеленых, цвета знамени пророка, переплетах, а вдоль стен были разложены шелковые стеганые курпэ — тюфяки для сиденья. Здесь ишан принимал своих мюридов и больных. Затем Каримэ показала дома первой жены, второй жены, третьей жены. В саду, огороженном высоким забором, стоял еще дом. Он был совсем новый, срубленный из крупных, как говорится, звонких сосен. Двери, оконные наличники, крыша дома и садовая ограда были покрашены в зеленый цвет. Дорожки вокруг были посыпаны песком. Любуясь нарядным, уютным домиком, Каримэ игриво улыбнулась хромому инвалиду-красноармейцу, который неведомо откуда взялся здесь, и сказав: «А это мой!» — залилась веселым смехом.

Потом все с той же сияющей улыбкой стала водить красноармейцев по амбарам, кладовым. Нигде особенно не задерживаясь, она наконец подвела их к большой каменной клети.

— Тут сложено все добро хазрета! — заявила она и, громыхнув замком, отворила тяжелую железную дверь. Войдя первым, Гайнетдинов откинул брезентовый полог с вещей, собранных вдоль северной стены клети. Там от угла до угла рядами стояло бессчетное количество самоваров — больших и малых, медных, латунных, серебряных, старых, новых...

— Что это? Откуда столько? — невольно воскликнул Шарафи.

— Как что? — со смехом ответила женщина.— Самовары, подаренные за отпущение грехов покойникам!

Гайнетдинов сдернул цветастый полог, тянувшийся вдоль другой стены. Там чуть не до потолка были аккуратно сложены стеганые атласные, шелковые, плюшевые одеяла. Горы подушек, пуховиков, перин. Все это так и звало ко сну, к покою...

— А это что?

Женщина опять засмеялась:

— Как что? Подношения хазрету за покойников!

Открыли огромные кованые сундуки. В нос ударил удушливый запах нафталина. Сразу запершило в горле, и все вспомнили о куреве. У инвалида нашлась махорка, у Шарафи — бумага, вырванные из какой-то книги листы. Не было только спичек. Каримэ живо сбегала за ними домой. Запах нафталина, наполнивший клеть, смешался с густым махорочным дымом. В этом едком тумане красноармейцы продолжали осматривать ишанское добро. Вот кто-то отдернул следующий полог и начал выбрасывать на середину всякую одежду. Тут были шубы на лисьем меху, оленьи дохи, шубы с застежками из цветных камней, опушенные выдрой, легкие, подбитые белкой, шубы для хождения в мечеть, суконные бешметы, шелковые и полушелковые камзолы, атласные казакины, отливающие всеми цветами радуги полосатые бухарские чапаны. И рядом — белые, голубые азиатские тюбетейки, гладко-черные и вышитые казанские каляпуши, дорогие бобровые шапки.

— А это что?

Ответ был тот же:

— Подношения хазрету за покойников!

Не было никакой возможности рассмотреть все накопленные здесь вещи. Запах нафталина смешался с ароматом душистых масел, и, казалось, в клети потянуло могильным смрадом.

Поблагодарив Каримэ за помощь, красноармейцы отпустили ее, уселись на воле перед клетью и, покуривая махорку, стали держать совет.

Мнения всех сошлись на одном: ишана и его гостей посадить под арест. Вещи раздать деревенской бедноте.

XLIV

Однако дело этим не кончилось.

Наутро инвалид принес неожиданную весть:

— Добро ишана, розданное беднякам, ночью водворено на прежнее место!

Оказалось, что по деревне пустили слух: «Кто коснется вещей ишана, у того отсохнут руки и ноги».

Бедняки перепугались, переполошились и, торопясь спастись от напасти, скорее понесли все обратно. Всю ночь в деревне стояла суматоха. Бедняки, запыхавшись, тащили вещи, а старшие жены ишана принимали их и расставляли на прежние места.

Мало того, у волисполкома, где в одной из комнат сидел под стражей ишан, собралась несметная толпа. Слух об аресте ишана потряс всех его мюридов и почитателей, и потянулись они сюда, говоря, что хотят увидеть его, получить святое благословение. А тут еще пошли всякие россказни:

«Попросил, мол, нынче ночью ишан стоявшего на страже красноармейца принести ему кумган с водой для омовения, дабы мог он предаться ночным молитвам. А красноармеец будто ответил, что нечего здесь заниматься подобными пустяками, и в тот же миг, сам того не чуя, заснул. Прочел, мол, ишан молитву, и спали с его рук железные оковы. Пошел он к речке и, совершив омовение, вернулся обратно, оковы же снова сомкнулись на его руках, и начал ишан молиться. Будто проснулся тут красноармеец, но было уже поздно: не увидел он, как сходил ишан к речке омовение совершать...»

К этим сказкам примешивалось еще много всяких смутных, вредных слухов. Тем временем вернулся посланный к Садыку с письмом красноармеец. Приказ Садыка был категоричный. Гайнетдинов прочел записку Садыка и показал ее Шарафи. Тот растерянно взглянул на Гайнетдинова. Лицо Гайнетдинова как-то странно изменилось: оно словно бы еще больше похудело, резко, точно высеченные, обозначились на нем скулы. Гайнетдинов решительно поднялся и, беря оружие, бросил товарищам:

— Пойдемте!

Приказав собрать на площади перед волисполкомом

всю бедноту Зпрекле, Гайнетдинов встал на телегу какого-то кулака, приехавшего за тридцать верст поклониться ишану, и раскрыл крестьянам суровую правду.

— ...Если поддаться жалости и оставить в живых одного контрреволюционера, он погубит тысячи людей!— закончил Гайнетдинов.

Людское море, заполнившее широкую площадь, затихло. Многие стояли, опустив низко головы, но многие же, словно проникнувшись его чувствами, смотрели на Гайнетдинова проясненным взглядом.

Инвалид и еще один красноармеец вывели ишана. Высокий, грузный, он шел, медленно передвигая ноги, не поднимая глаз.

На вопрос Гайнетдинова, согласен ли он подчиниться законам Советской власти, ишан сухим, старческим голосом ответил:

— Мы считаем себя обязанными подчиняться только велениям аллаха!— И добавил: — Мы не можем быть с теми, кто восстает против аллаха!

Гайнетдинов, не произнося ни слова, движением руки раздвинул толпу и, приставив ишана к каменной ограде волисполкома, снова спросил, согласен ли он подчиниться законам Советской власти. Ишан повторил, и на этот раз более резким голосом, тот же ответ. При последнем его слове Гайнетдинов вынул из кобуры револьвер, и над глухо волновавшейся толпой прогремел выстрел. Прижимая руку к сердцу, ишан повалился на землю. Но он был еще жив. Гайнетдинову пришлось выстрелить второй раз...

То были дни жестокой борьбы. Дни, когда контрреволюционеры сворой алчных псов со всех сторон кидались на молодую революцию, пытаясь перегрызть ей горло. У солдат революции не было времени разбираться в статьях законов. Да в те годы законы революции еще и не были зафиксированы на бумаге. Но если бы сегодня наши юристы привлекли того ишана к судебной ответственности по ныне действующим кодексам, то они все равно применили бы к ишану 59 статью Уголовного кодекса и приговорили бы его к высшей мере наказания.

В то жестокое время было не до тонкостей судебных разбирательств. Расстреляв ишана, Гайнетдинов с товарищами в глубокой тайне от всех закопал ночью труп

в горах, а на утро, созвав крестьян, еще раз коротко объяснил им происшедшее.

— Товарищи крестьяне! Дурная трава губит посевы. Вы сами, когда посеете просо, выпалываете осот, чтобы не мешал он росту злаков. Вот и мы выпололи дурную, опасную траву!

Инвалид Самигуллин, который эти два дня неотступно ходил за Гайнетдиновым, вдруг словно обрел дар речи:

— Братцы! — сказал он.— Спала с моих глаз пелена. Шамси-абзы вырвал вредный сорняк, нам только и остается сказать ему: спасибо!

Задерживаться было некогда. И без того Садык был недоволен, что они возятся долго, и приказал немедленно возвращаться.

Распустив сельсовет и волисполком, Гайнетдинов создал ревком из пяти вернувшихся с фронта солдат, председателем назначил инвалида Самигуллина и условился с Шарафи, что тот ненадолго останется в Зирекле, поможет на первых порах.

Ревком с аппаратом прежнего волисполкома Гайнетдинов разместил в большом доме ишана. Имущество ишана, возвращенное в ту ночь бедняками, он снова роздал крестьянам и со своими красноармейцами отправился в полк.

XLV

На этот раз розданное добро обратно не возвратилось.

Четвертая жена ишана Каримэ не стала скрывать своего тяготения к инвалиду Самигуллину. На следующий же день, после сорочин, справленных по ишану, привела Самигуллина в свой нарядный, построенный ишаном домик.

— Боишься, что мужиков не достанется на твою долю? — смеялись над ней женщины.— Что тебя прельстило-то в этом хромом?

— Пускай хромает,— отвечала им Каримэ.— Мне не ноги нужны!

Зато среди мюридов и почитателей ишана волнение улеглось не скоро. Они ждали большого бедствия, жда-

ли, что разверзнется земля, черный мрак покроет лик луны и солнца, грозная поразит весь мир молния!

А пока они искали могилу ишана. В поисках исходили все окрестные горы, леса, поля — нигде не нашли. Но вот возле прозрачного лесного родника, бившего из-под корня могучего дерева, вроде заметил кто-то капли крови, и земля там показалась вроде рыхлой. Загадали тогда сны с молениями, вопросили душу усопшего и порешили на том, что здесь покоится прах святого их пастыря. Обложили родник камнями, врыли рядом дубовый брус, на́чертали на нем молитву из Корана...

Вскоре к роднику пролегла широкая тропа. Мюриды, почитатели ишана, больные старухи брели сюда помолиться за упокой его души, испросить у него помощи, благословения и бережно уносили с собой родниковую воду, говоря, что обрела она необычную силу, исцеляет от многих и многих болезней.

Так закончилась на земле жизнь ишана.

А Вали Хасанов, который намеревался совершить под его крылышком немало дел, спасся бегством. Разведчики наши донесли, что он — у Колчака и слывет героем.

Садык Миндлебаев надеялся освободиться очень быстро, но его допрашивали часа полтора. Отвечая на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, он эпизод за эпизодом восстановил эту сложную, путаную историю.

— Гайнетдинов вернулся в полк сильно расстроенным,— сказал в заключение Садык.— А когда я спросил у него, в чем дело, ответил, что мы напрасно только пыль подняли. Идеолога уничтожили, а главного врага упустили. Ишана расстреляли, а Вали Хасанов, переодевшись крестьянином, бежал через фронт к Колчаку...

Садык, усталый, опустился на скамью. Салахиев не сводил с него горящего злобой взгляда. Люди в зале стихли, подавленные тем, что услышали.

— Почему вы тогда бежали к Колчаку? — спросил прокурор у Вали Хасанова.

Сотни глаз устремились на подсудимого, ожидая, что он скажет. Но его ответ был краток:

— Что делать, были ошибки...— Он запнулся и через

некоторое время добавил: — Я не хотел бежать... В то время красные при отступлении брали баев в заложники. Этого я и боялся. Думал до поры до времени отсидеться у ишана...

— А для чего переоделись крестьянином?

— Чтоб не узнали.

— Каким же образом вы оказались у Колчака?

— Советы оставили ту деревню, где я скрывался. Красные отступили, и я оказался у белых.

Прокурор задал прибереженный к концу вопрос:

— Сколько денег вы дали на колчаковское движение?

Вали-бай опустил голову, помолчал. Потом, окинув быстрым взглядом зал, ответил негромко:

— Трудно сказать... Так уж было у нас заведено. Бывало, просят: «Деревня наша бедная, дети темными остаются. Дай денег на школу!» Давали. «Погорели мы, негде голову в молитве преклонить, помоги мечеть построить!» Помогали. Жаловались: «Нация безгласна, нужна газета!» И на газету тратили деньги. «Создадим особые мусульманские полки! Баи должны пожертвовать средства!» Тоже не отказывали. «Духовное национальное управление нуждается в средствах!» По мере возможности выделяли и для них долю. Счет всем этим деньгам одному богу, наверное, известен. Когда я был на территории Колчака, опять приходили: «Войска голодают, помогите!» Им тоже давал... А сколько? Бог его знает...

Подсудимый умолк.

На языке у Шаяхмета вертелся, как ему казалось, необычайно ядовитый вопрос. Если бы его никто не задал, он не преминул бы мысленно обругать судей ишаками. Но ругаться ему не пришлось.

— Скажите, а какую сумму вы внесли в помощь советским организациям, как им помогали? — спросил один из заседателей.

В задних рядах кто-то прыснул. За ним засмеялись другие, и вскоре весь зал охватил безудержный хохот.

— Помогаем по мере сил и Советам...— растерянно произнес Вали-бай, но его слова потонули в общем смехе.

Названивая в колокольчик, угрожая вывести не в меру развеселившихся из зала, председатель с трудом восстановил тишину.

Одними из последних свидетелей, вызванных на это заседание, были четвертая жена расстрелянного ишана Каримэ и ее новый муж Самигуллин. В зале их встретили с нескрываемым любопытством, тянулись разглядеть Каримэ.

Это была стройная, статная женщина с легкой походкой. Кокетливая, острая на язык, она не испытывала ни малейшего смущения и явно чувствовала себя героиней. Охотно и пространно отвечала на все вопросы. О прежнем муже, ишане, не сказала ни одного плохого слова, а когда спросили о совместной жизни с остальными женами-соперницами, ответила, усмехнувшись:

— Что тут говорить? На четверых один муж! Да и тот — семидесятилетний старик! Как было обойтись без скандалов?! Случалось, клоками выдирали волосы друг у друга.

Не поносила Каримэ и Вали Хасанова:

— Прежде он, правда, называл ишана вредным микробом... А после революции сам к нему с поклоном пришел. В каждый приезд передавал мне через хазрета дорогие подарки.

Вместе с тем она открыто рассказала суду, как Валибай во время наступления Колчака скрывался у них, откуда раздобыл крестьянскую одежду. Она была не прочь поговорить еще, но все уже было ясно, и затягивать разговор не стали. С Самигуллиным, задав ему всего несколько вопросов, тоже покончили быстро.

Оставалось еще допросить деда Джиханшу.

XLVI

Крупный, широкоплечий, дед степенно прошел к судейскому столу. На нем был камзол, новый каляпуш, на ногах чулки и кяуши. Поглаживая белую бороду, он спокойно выслушал вопрос председателя и, кашлянув, ответил густым, сиповатым голосом:

— Черное и красное! Вот что мне известно!

— А что это за «черное и красное»? — удивленно спросил председатель.

Старик вытер платком вспотевший лоб и, бросив на председателя сердитый взгляд, сказал:

— Лучшего нашего человека убили! Что же это, как не черное и красное?

Его никто не понял. Председатель объяснил ему, что на вопросы надо отвечать, опираясь на факты,— ясно и точно. Но это ни к чему не привело.

Дед Джиханша был человек упрямый, он даже ухом не повел на слова председателя и стал рассказывать о том, что раз навсегда укоренилось в его сознании и что он считал главным в понимании человеческих отношений. Так же, как на допросе у Паларусова, дед начал с выкладок:

— Из той сотни сорок да из этой двадцать — будет шестьдесят. Да еще прибавим шесть... Выходит, был я тогда мальчишкой лет семи-восьми... Записали нас вместе с собаками, лугами, лесной делянкой в одну купчую и продали. Мать мою, сестренку и братишку тоже. Наш помещик, покойный Хайдар-мирза Акчулпанов, сам собственноручно подписался на купчей.

— К чему вы это? — недоумевая перебил его председатель.

— Потерпишь — узнаешь,— с полным спокойствием ответил старик. — Погоди малость... — И принялся рассказывать о том, как играла на их спинах барская плеть, сколько плетей да розог получил он сам. Потом перешел к освобождению:

— От плети мы освободились, а от голода — нет. Получили волю, остались без земли...

Дойдя до пятого года, старик совсем разволновался.

— Не вытерпели. Или смерть, или земля,— порешили мы, захватили силой барскую землю и засеяли ее. Вот пригнали к нам в Акташ тучу войска. Был в деревне колодец с воротом и здорового бревна. Подвесили на том вороте за ноги моего младшего брата Тимершу, отца Фахри. Молодой, красивый офицер вынул саблю из ножен, рассек тело Тимерши и, посыпая живые раны солью, спрашивает:

«Говори, кто вас подбил, кто дал оружие?»

Тимерша хрипит, а отвечает: «Кто еще нас станет подбивать?! Безземелье подбило!»

Секут его саблей и опять спрашивают: «Говори, кто вас подбил?»

Задыхается Тимерша, отвечает: «Кто нас станет подбивать?! Безземелье подбило!»

Снова секут его саблей, ругаются безобразно, спрашивают:

«Говори, кто подбил?»

Тимерша уж на последнем дыхании был, хрипит в ответ: «Кто нас станет подбивать?! Безземелье подбило!»

Вот ведь в какой крови росли, закалялись наши Фахри. Оттого и говорю я про черное и красное. Я и Паларусову тогда говорил, мол, товарищ Фрунзе об том знает, ты тоже знай, потом в городе властям расскажешь: в Самаре коммунистов вырезали, чехи поднялись. После того наши акташевцы сами собрались в отряд и пошли воевать против белых, против помещиков. Не только мужики, но и бабы, старики в том отряде были. Двадцать баб, семь аксакалов, двести человек всего. Мой сын, который погиб потом, писал мне из-под Перекопа: «Наш акташевский отряд известен самому товарищу Фрунзе. Он, товарищ Фрунзе, издал приказ с благодарностью первому отряду татарских крестьян». Вот тот первый отряд был отрядом Фахри. Так и было у нас: советы давал кочегар Садык, а Фахри на своих плечах вытягивал. Как тут не скажешь о красном и черном?!

Замолчал дед Джиханша. Председатель хотел уже отпустить его, закрыть заседание, но прокурор задал вопрос:

— Близко ли вы знали Вали Хасанова?

— Близко ли, далеко ли, рассуди сам: как приехал ваш кожевник Вали в «Хэмэт», стал вокруг меня крутиться. А я ему прямо заявил: прислушайся к доброму совету. Наш красный Татарстан много горя перенес. Теперь нам надо сообща его раны залечивать, чтобы выправлялся скорей. Хочешь честно работать, шагай в ногу с нашими советскими джигитами. Здесь мы все решаем. В городе — кочегары, в деревне — мы. Пролетарий — голова, бедные крестьяне — опора. Ленин сказал: без диктатуры ничего не сделаешь. С кулаком борись, с середняком дружи, на бедняка опирайся. Так, мол, нас учили приезжавшие из города ребята. Все ему, кожевнику, объяснил. Да разве станет он слушать такого бестолкового старика, как я? Одна у него была забота: богатому нажиться помочь. О бедняках он не думал. Вот и прикинь, правильно ли я говорю про красное и черное. Одни, стало быть, черные, другие — красные! Вы, сынки, не разбираетесь толком, кого в деревню к нам посылаете! А у нас и от прежних помещиков душа нахолодалась.

Говорят: сколько волка ни корми, он все в лес глядит. Больше мне сказать нечего. Из-за этого волка лучшего нашего человека сгубили!

XLVII

Процесс подошел к самому острому моменту — к разбору убийства Фахри. Поднялась последняя завеса, прикрывавшая преступление.

Первой для дачи показаний вызвали жену Фахри — Гайшэ.

Многим из сидевших в зале ее имя было знакомо по съездам, конференциям. Ее портреты встречались в газетах. Но в жизни она показалась всем намного привлекательней. Возможно, сказали некоторые, тяжелое горе придало ее взгляду особую глубину. А женщины отметили, что у нее и веснушек не так уж много...

По просьбе председателя Гайшэ рассказала о последних днях и часах мужа, о том, с кем он ушел в кузницу, как он, расставшись с Садыком у столетнего дуба, пошел под вечер в совхоз. Отвечая на вопрос председателя, поведала она и о тревожной, грозовой ночи, проведенной в ожидании мужа.

— Думала, вот-вот вернется, все подкладывала углей в самовар... Потом вдвоем с Шаяхметом отправились к Шангерею-абзы.

Гайшэ решила, что сказанного достаточно. Она видела, что судьи не собираются спрашивать ее больше. Но защитник Вали Хасанова Арджанов вдруг начал задавать ей вопрос за вопросом. По собранным им материалам, Фахри представлялся ему человеком мелочным, склочным, драчливым, а скорее всего ему нужно было представить его таким. К этому и сводились все его вопросы:

— Почему ваш муж Фахретдин Гильманов воспротивился избранию вас председателем сельсовета?

Гайшэ как-то неожиданно резко, звенящим голосом выкрикнула:

— Еще чего? Как это — воспротивился? Он и слова не сказал, я сама отказалась!

— Почему?

— Так уж получилось!

— Как все-таки получилось?

Разговор об этом всегда раздражал Гайшэ. И вот он снова возник, и ей пришлось рассказывать о том, о чем она считала неудобным говорить:

— Тяжелая была я. На четвертом месяце. Можно лн в таком положении за большую работу браться?

В зале заулыбались.

— Каковы были ваши отношения с мужем? — не унимался Арджанов. — Не притеснял лн он вас своей придирчивостью? Не бнл ли?

— В жизни всяко бывает,— нетерпеливо ответила Гайшэ. — А так мы с ним хорошо жили. У Фахри не было привычки привязываться по пустякам. — И добавила резко: — Напрасно вы ищете, чего не было.

После Гайшэ в зал ввели старика кряшена. Татарское имя у него было Бнктимир Вильданов, поп окрестил его Иваном Панкратовым. Одет он был в поддевку, на голове картуз. Усатый, с большой бородой, он весь зарос волосамн. По обличью и повадкам это был настоящий русский мужик, а говорил на чистом татарском языке.

Председатель предупреднл его:

— Не забывайте, что вы должны говорить лишь правду.

— Ладно, не забуду, — хрнплым голосом сказал старик.— Только мне никакая присяга не страшна. Мне — что Христос, что Мухаммет — все едино. Я н на русского бога наплевал, и — на татарского.

Все удивленно переглянулись. Председатель решнл скорее перейти к делу:

— Где вы встретили Фахретдина Гильманова?

— У дуба над Яманкулом. «Куда идешь?» — спрашиваю. «Да тут неподалеку, в совхоз», — отвечает он. «Садись, мол, подвезу, все равно мимо ехать». По дороге он и говорит мне: «Забралась в совхоз одна собака, и никак ее не выгонят». Возле «Хзмэта» Фахрн слез. А я поехал дальше.

Старик кряшен отделался быстро. Его ни о чем больше не спрашивали, и он уселся в ряду, отведенном для свидетелей.

— Сабит Тимеркаев! — крикнул председатель.

Сынишка Шангерея — босой, загорелый, в тюбетейке и с красным галстуком на шее — чуть не бегом вскочнл в зал.

После обычиого предупреждения о необходимости говорить только правду председатель спросил Сабита:

— Что ты зиаешь о шкворие?

— Наш пиоиерский отряд собирался пойти в поле смотреть, как работает трактор. Тут показался дед Гимади... Огляделся вокруг, поднял с земли шкворень, суиул его в рукав и пошел своей дорогой.

— Почему ты ие рассказал об этом Паларусову, когда он прнезжал в деревию?

Пионер покрасиел:

— Позабыл я. Потом только вспомннл.

— Зачем ты в тот деиь в совхоз ходил?

— Мама послала. Дома запасы все коичились. Оиа велела сказать отцу, чтобы ои раздобыл чего-иибудь. Он в «Хзмэте» иа поденщиие был, крышу чинил иа погребе...

— Где ты встретил Фахри?

— Пришел я в «Хзмэт», а там собаки злые. Я побоялся войти во двор, стоял смотрел в щелку. Вдруг кто-то закрыл мие глаза. «Узнай, говорит, кто, а то не отпущу!» Я сразу догадался, что Фахри-абзы. Ои меня довел до погреба.

— Что Фахри делал в совхозе?

— Насыпал отцу в кисет немиого махорки. У отца как раз табак коичился. Потом я сказал отцу: «Мама велела достать что-нибудь, а то есть иечего». Отец пошел в двухэтажный дом возле сада. Вышел злой, ругался. Работаешь, говорнт, как лошадь, а денег вовремя ие платят.

— Так ты и ушел с пустыми руками?

— Нет. В счет платы дали муки и картошки. Отец проводил меия до ворот, чтобы собаки не троиули, а сам остался.

— А Фахри?

— Ои тоже остался. Его там сразу работиики окружили. Я слышал, как одии говорил ему: «Что же это за ячейка, еслн за такими ие следит!»

— Кого еще ты видел?

Считая по пальцам, мальчик иазвал Гимади, Ахми, Шаяхмета, Низами, Вали-бая.

— Где ты видел Вали Хасанова?

— На террасе, которая в сад выходит. Он одии пил чай. Перед ним стоял стол. А на столе — большущий

самовар. Ворот у Вали-бая был расстегнут, на голове красивый каляпуш, а на груди цепочка от часов.

— А зачем ты туда ходил?

— Посмотреть, какие бывают буржуи. Нарочно подкрался.

В зале поднялся смех. Многие повернули головы в сторону подсудимых. Вали Хасанов сильно сдал за последние два дня, осунулся. «Когда только успело народиться это шайтаново племя?» — с удивлением и горечью думал он, слушая пионера.

Председатель разрешил мальчику сесть, но тот в следующую же секунду вскочил с места и, поправив галстук на шее, вытянул руку. Председатель, увидев поднятую руку, улыбнулся:

— Ты что, пионер? Еще осталось что-нибудь?

— Ну да, осталось. Можно сказать?

— Хорошо, говори!

— В ту ночь к нам Шаяхмет-абзы с Гайшэ-джинги постучались. Гроза была страшная. Молнии так и сверкали. Залаяла собака, и мы проснулись. Отец высунулся в окно, спросил, кто там. А Гайшэ-джинги отвечает: «Что делать, Шангерей-абзы, Фахри не возвратился? Как ушел вчера в «Хзмэт», так с тех пор и нет его. Боязно мне — не случилось бы чего». Отец обул лапти, накинул чекмень, и они вместе пошли в сельсовет. С этого и начались поиски...

Сабит умолк.

— Кончил? — спросил председатель.

— Кончил! — с достоинством промолвил мальчик и вернулся на свое место.

Бывает, устроят охотники облаву на волка: возьмут его в живое кольцо и теснят шаг за шагом, сужают круг. Мечется волк — ощеренный, страшный — и не может прорваться. Идут на него, нацелив ружья, идут со всех сторон. Кольцо сжимается. И кажется волку, что даже воздух вокруг становится плотнее, душит. Еще немного и — конец, смерть захлестнет ему горло...

В последние часы таким же затравленным волком почувствовал себя вдруг Вали Хасанов. Словно стянуло, сдавило его железным обручем. Упования, надежды, не покидавшие его в начале процесса, теперь исчезли без следа. Ему стало трудно дышать, в глазах потемнело.

Мустафа видел переживания отца, видел, что он задыхается, и это острой, резкой болью отдавалось в его сердце. Казалось, раскаленный железный обруч вместе с отцом сжимает и его.

— Джамалетдин Зайнетдинов! — раздался голос председателя.

Мустафа, вздрогнув, поднял голову. Перед судьями стоял портной Джамали.

«Каким это образом? Когда он успел выздороветь?»

Всего несколько дней назад Мустафа слышал, что портной слег, что в ногах у него страшная ломота, что он не явится в суд и откажется от своих бредней об окровавленном бешмете.

Известие это было для Мустафы маленьким просветом в небе, затянутом черными, грозовыми тучами. Оно давало пусть крохотную, но все-таки надежду. Теперь и ее не стало.

Мустафу поразило, что ни в лице, ни в голосе Джамали не было и тени раскаяния или хотя бы смущения. Он держал себя смело и решительно, точно солдат, готовый идти на штурм крепости.

...Ломота в ногах прошла так же быстро, как и появилась. Волна возмущения против Вали-бая, поднявшаяся в городе с началом процесса, вырвала Джамали у болезни, наговоренной ему Мэриям-бикэ и Сираджи.

— Нет, мать! Так не годится! Сам начал, сам же и закончу! — заявил вдруг Джамали жене, измучившейся от тревог за его больные ноги. Вскочив с постели, он взял принесенную милиционером повестку и помчался в суд. — Я его потопил! Я!.. — хвастал он встречавшимся по дороге знакомым.

Бурное негодование, которое вызвало у людей убийство Фахри, вновь придало Джамали решимости. Он опять зажегся смелыми планами разоблачения бая на суде.

«Я все выскажу! Все расскажу! Расскажу, как он прежде пил кровь у трудовых — вроде меня — людей! Пусть не хвастает, что строил школы да мечети. Это, скажу, — со свиньи щетинка! Я расскажу, как он на Колчака миллионы потратил! Как, получив от Советов кожевенный завод, рабочих притеснял! И кто бриллиантовым королем на черной бирже был! Все раскрою! Что

же это, скажу, получается, товарищи! И прежде кожевник Вали командовал, и при Советах он же командует! Так, скажу, нельзя!..»

Возбужденный, готовый произнести эту горячую речь, вошел Джамали в зал суда. Но развернуться ему не удалось. Председатель, показывая на бешмет, который лежал на особом столе среди других вещей, сразу же спросил у него:

— Узнаете?

— Как же не узнать? Моя работа! Моя рука! Ведь я сам опознал его и в милицию передал! Как же не узнать?

То же повторил и вызванный за ним сапожник Камали.

Сираджи, сидевший в самом дальнем углу зала, весь почернел от злости, слушая их показания. Он был уверен, что кто-кто, а Джамали с Камали не переметнутся, не станут рассказывать историю с окровавленным бешметом. Так, видно, всегда: коли прорвет где плотину, воды не удержать! И Сираджи, кажется, тоже почувствовал теперь, что железный обруч сжимается неумолимо.

Арджанов решил извлечь из истории с бешметом хоть какую-то пользу.

— Ахмет Уразов, помните ли вы, когда вам подарил Вали Хасанов этот бешмет? — спросил он у Ахми. — До смерти Фахри или после?

Ахми тяжело поднялся и, уставясь на свои лапти, жидким, слабым голосом ответил:

— Не могу сказать точно... Примерно в эти дни...

А прокурор задал вопрос Хасанову:

— За что вы подарили Ахмету Уразову этот бешмет?

— Так уж у нас исстари ведется: старую одежду раздаем бедным, нуждающимся...

На этом разговор о бешмете пока закончился. Председатель перешел к вопросу о шкворне.

— Этот? — спросил он у Ахми, указывая на шкворень, который лежал на столе.

Ахми отрицательно покачал головой. У этого шкворня на одном конце была веревка, на другом — гвоздь.

— Мне давали шкворень без веревки и гвоздя.

Комендант пододвинул к нему другой шкворень. Ахми утвердительно кивнул головой.

— Какнм образом в овраге возле трупа Фахрн оказался вот этот шкворень с гвоздем н веревкой?

Ахмн, длнный, иескладный, стоял, все так же уставнвшнсь в пол, и молчал. Прокурор повторнл вопрос.

— Не знаю, ннчего не знаю, — пробормотал Ахмн. — Я н в мыслях не нмел убнвать. И в Яманкул не ходнл... Махнул два раза из-за кустов, броснл шкворень н убег... Больше я ннчего не знаю...

Одиако его ответ никого не удовлетворнл. Заседатели, прокурор, защитник н сам судья взяли Ахми под перекрестный допрос, и каждая сторона, по-своему хитроумио ставя вопросы, пыталась вытянуть из иего нужный ей ответ. Но подсудимый ие отступал от прежнего показания: темная ночь, удар шкворием из-за куста и бегство... Пьянка в марийской деревне, пока ие кончились деньгн... Потом продажа байского подарка — бешмета...

Больше от Ахмн ничего не смогли добиться.

Председатель обратнлся к другому подсудимому:

— Гнмадетдин Бикмурзин, какнм образом здесь оказались два шкворня?

Вид у старнка был довольно жалкий. И без того невзрачный, маленький, он за время суда, кажется, еще больше съежился, высох. На лнце его было напнсано непрнтворное горе. Он молчал некоторое время, затем ответнл:

— Однн — иаш, совхозный, второй — старнка Джнханши нз «Байрака».

— Почему шкворень старика Джиханшн оказался в кровн?

Гнмади, как-то задумчиво н в упор глядя на судью, ответил:

— Так, видно, н получается! Коль начиешь вязнуть, непремеино увязиешь весь!

— Как это?

— А так: ие велел я Ахмн убнвать. Надо было только проучить малость Фахри, разуму наставнть. Ведь он нам всю душу вымотал. Боялся я, что он и меня на старости лет вместе с баем на улицу выкинет... Сказал я Ахмн, чтобы он спрятался в кустах у тропннкн, что между «Хзмэтом» и «Байраком», подстерег... Сунул ему в рукн шкворень вон тот, что без веревкн и гвоздя...

Старик умолк.

— Дальше?

— А дальше Ахми ушел и пропал... Я лежу и не могу засиуть. Как бы, думаю, ие случилось с ним чего спьяиу. И когда было уже за полиочь, пошел искать его... Вдруг вижу, лежит поперек тропинки человек. Смотрю: Фахри! У меня чуть сердце не зашлось от страха. Господи, думаю, вот ввязался иа свою голову! Зажег спичку... Все лицо, шея залиты кровью... Череп разворочен. Трясу, дергаю его... Нет! Никаких признаков жизни. Послушал сердце — не бьется. Тело уже остыло. Я совсем потерялся. Эх, говорю себе, пропали иаши головы, погибли мы!..

— Потом?

— Потом принялся я заметать следы. Первым делом перетащил тело Фахри в овраг, бросил там. На тропинке, где убит ои был, крови оказалось много. Всю иочь скоблил ее. Сиачала луиы боялся. Раза два, как иазло, вышла оиа из-за туч и светит прямо на меня. А потом тучи сгустились, закрыли и луну и звезды. В кромешной тьме закончил я свое дело. Ахми, оказывается, бросил шкворень в кусты и отправился пьянствовать. Есть у иего плохая привычка: как иапьется, лезет к каждому встречиому, обнимает, плачет и начинает выворачивать свою душу. И тогда — иапился, хотел сам себя зарезать... Бесновался, буяиил на улице, кричал: «Ну, кто я? Разве я человек?! Старый бешмет и тридцать рублей — моя цена!..» Забрал его милиционер и привел к нам. Насчет шкворня ои только на втором допросе признался Паларусову.

— Каким образом шквореиь старика Джиханши очутился в овраге и почему ои был в крови?

Гимади опустил голову. Снова зашевелилось в нем сомиение. Внутренняя борьба, не дававшая покоя его сердцу все эти месяцы, кажется, вновь завладела им. Он должен, должеи сказать о том, как на следующий день после убийства приезжал Сираджи и учил, что делать, как отвечать иа вопросы. Но опять ие решился, оставил его в стороие. И заговорил только о шкворне:

— Я был в «Байраке», как раз возле дома Джиханши, когда Садык вышел от иего со шкворнем. Я видел, как он сбил гвоздь в сапоге и тут же бросил шкворень, не вернул Джиханше. Попав в беду, я сразу вспомнил про

это. Выбрал подходящий момент и подобрал шкворень. А мальчишек вот не заметил. Разрезал себе руку, вымазал шкворень кровью и бросил в Ямаикуле рядом с телом Фахри... Так и накинули петлю на шею Садыку... Вот и получается: коли начнешь вязнуть, непременно весь увязнешь!

Вопрос судьи о тридцати рублях, подаренных Ахми, вызвал уклончивые ответы и у Гимади и у Вали Хасанова.

— Из них у меня не осталось ни копейки, — заявил Гимади. — Вали-бай дал мне два червонца и две новеньких пятирублевки. Я их все передал Ахми. В убийстве Фахри я никакой выгоды не видел и не имел. Только грех принял на себя за душу загубленную.

— Вали Хасанов, зачем вы дали эти тридцать рублей? — спросил прокурор.

Вали-бай сжался весь, лицо его покрылось мертвенной бледностью.

— Старик Гимади сказал мне, что придется заткнуть глотку этому гаду Фахри. Без денег, мол, ничего не выйдет, не подмажешь — не поедешь. Подробностей я не спрашивал. Решил, что он хочет угостить кого-то, подарок сделать... И дал тридцать рублей.

— До бешмета дали или после?

Хасанов растерялся:

— Точно не помню... Приблизительно в одно время, наверное.

Мустафа слушал отца как в огне. Ему казалось, что сердце у него перестает биться, раскаленный обруч сжимается все сильней и сильней...

XLVIII

Уже давно шли выступления сторон. Но Мустафа не мог ничего слушать, и даже то, что слышал, не вмещалось в его голове. С каким-то удивлением, словно попал сюда впервые, осматривал он зал. Плотные ряды скамей были сплошь заняты рабочими, служащими, ремесленниками, красноармейцами. Кое-где виднелись торговые люди, старые их знакомые. Были здесь и байраковцы.

Вон в первом ряду — жена кочегара Садыка Нагимэ. Рядом с ней, ссутулившись, опустив голову на руки, си-

дела Гайшэ. За ними, в следующем ряду, примостился Шаяхмет в своей курсантской форме. Он ежеминутно наклонялся вперед и что-то шептал женщинам. Слева от Шаяхмета виднелись бывшая жена ишана Каримэ и ее муж-инвалид. Они не сводили глаз с прокурора, внимательно его слушали. В одном из последних рядов возвышалась крупная фигура старика Джиханши. Около него — длинноусый, с подбритой под губой бородкой — сидел Шангерей. Кажется, он тоже, как и Мустафа, был не сильно захвачен речью прокурора. Вот он вынул из кармана бешмета замусоленный блокнот и, положив на колено, огрызком карандаша написал что-то. Потом вырвал листок, протянул сидевшим впереди, указав головой на Шаяхмета. Записка скоро дошла по рядам до курсанта.

Шангерею действительно было не до речи прокурора.

«Дело затягивается,— писал он Шаяхмету.— А у меня завтра доклад. Боюсь опоздать на пароход. Не устроишь ли нам автомобиль доехать до пристани?»

Шаяхмет прочел записку, сказал что-то сестре и, держа в руке шлем, торопливо пробрался к выходу. Спустившись вниз, он зашел в маленькую комнату, где был телефон, и стал звонить в ЦИК республики. Оттуда ему ответили категорическим отказом — заявили, что свободных машин нет. Шаяхмет выругался, не поверил этому и решил добиваться машины через других. Позвонил Василию Петровичу.

— Он вчера уехал в Москву, на пленум ЦКК,— послышалось в трубке.

Шаяхмет попытался найти Паларусова или Гайфуллина — их тоже не было. Позвонил Садыку. Тот оказался на заседании завкома. Наконец Шаяхмет, пререкаясь с телефонистками, дозвонился до него. Узнав, в чем дело, Садык велел Шаяхмету подождать и через пять минут сообщил ему:

— Когда понадобится, дадут машину ТатЦИКа. Позвонишь туда!

— Ну и бюрократы! — возмутился Шаяхмет.— Мне отказали, а когда директор за дело взялся, машина тут же нашлась! Непременно напишу о них в газету!..

Но дело было улажено, и возмущение Шаяхмета быстро улеглось. Довольный, взбежал он наверх, в зал

заседаний. И, проходя мимо Шангерея, кивнул ему, дав понять, что все устроено.

Мустафа, который с самого начала следил за этими людьми, поняв из обрывков дошедших до него фраз, в чем дело, с горечью подумал:

«Ведь дубины стоеросовые, а все в жизни — для них! Мы же оказались пасынками судьбы!»

Мустафа повернулся в другую сторону и вдруг увидел, что в одном с ним ряду, только через человека, уселись Шарафи и метранпаж Гайнетдинов. Мустафу всего передернуло. Он почувствовал, как сразу стеснилось его дыхание. Будь он один, он бы немедленно встал, перешел на другое место, но рядом с ним вся в слезах сидела мать — Мэриям-бикэ. Да если поразмыслить здраво, куда он может уйти? Ведь если даже убежать прочь из этого зала, куда от них скроешься? Нет, надо послушать прокурора. О чем он говорит? Мустафа стал вслушиваться в захватившую всех порывистую, горячую речь.

— Надо распутать клубок этого сложного, запутанного преступления. Надо раскрыть его изнутри! В данном случае кровь и классовая борьба неотделимы... Это преступление отражает борьбу последышей капитализма против социалистических сил в деревне... Контрреволюционная буржуазия использует для выполнения своих черных замыслов введенных в заблуждение бедняков...

Что? Что хочет сказать всем этим прокурор?

Мустафе и раньше приходилось видеть этого прокурора. Много ходило всяких разговоров о его беспощадности. Рассказывали, что он принадлежал когда-то к высшим кругам, но не поладил со своей средой, порвал с ней. Будучи студентом-юристом, он также отличался непримиримостью своих суждений, выступал против ректора и был изгнан из университета. После Октябрьской революции он добровольно пошел воевать на стороне красных. На фронте получил известие о том, что его отец попал по серьезному политическому обвинению в Чека, но что, если он поручится за отца, участь его могут облегчить.

— Нет,— ответил он,— не могу. Поступайте, как найдете нужным.

Отца его расстреляли. А он с еще большей яростью продолжал воевать против белых. Мустафе как-то говорили, что если он на поле боя был беспощаден к врагам пролетарской революции, то в судебных залах он так же беспощаден к противникам пролетарского государства. Тогда Мустафа слушал это с иронической усмешкой. «Преувеличивают!» — думал он. И только здесь, на суде, только сегодня понял и прочувствовал смысл всего слышанного прежде. Каким был прокурор на фронте, он, разумеется, не знал, но здесь Мустафа воочию убедился в его непримиримости. Он с ненавистью взглянул на одного из соседей, который восторженно сказал своему товарищу: «Какая непреклонная сила!», и подумал: «Я ему никогда не забуду этой «силы»! Как знать, может быть, жизнь еще столкнет нас, тогда я припомню все!»

Речь прокурора приближалась к концу. Он раскрыл все внутренние напластования, все предпосылки преступления, показал, как назревало оно на основе политической и экономической контрреволюции. Он как бы вырвал корни преступления из взрастившей его исторической и социальной почвы и обнаженными представил их судьям и всем собравшимся в зале. Затем перешел к рассмотрению состава преступления каждого подсудимого в отдельности. В самом конце остановился он на центральной фигуре — на Вали Хасанове.

Огненным ливнем падали на Мустафу слова об отце, жгли, душили его.

Прокурор уже перешел к определению мер наказания по статьям кодекса в отношении каждого обвиняемого.

В зале воцарилась глубокая тишина. Подсудимые не сводили с прокурора широко раскрытых глаз. А он, не глядя на них, продолжал сильным, звучным голосом перечислять статьи и параграфы Уголовного кодекса. По характеру преступления он разделил обвиняемых на три группы.

Ахмеда Уразова и Гимадетдина Бикмурзина, квалифицировав их преступление по 136 статье, предложил приговорить каждого к трем годам тюремного заключения.

Салахиеву Ахмедетдину и Федору Кузьмичу Иванову он предъявил обвинение по статьям 109, 113, 117, 118 и требовал приговорить каждого к пяти годам заклю-

чения с последующим поражением в правах на четыре года.

— В отношении Вали Хасанова,— сказал под конец прокурор,— виновного в преступлении, предусмотренном статьей 58[8], обвинение требует высшей меры социальной защиты — расстрела!

При последних словах в замершем на миг зале вдруг раздался страшный вопль:

— А-ах... Сердце!.. Умираю!

Все, вздрогнув, повернулись на крик. Там, сзади, между скамей лежала в обмороке жена Вали Хасанова Мэриям-бикэ. Над ней склонились Мустафа и Сираджи. Вместе с подоспевшим комендантом они подхватили старуху под руки и вынесли из зала.

Прокурор хотел договорить, но его опять прервали. В конце зала бедно одетый крестьянин затеял спор с красноармейцами.

Невзирая на увещевания красноармейца, крестьянин то и дело вскакивал с места и порывался пройти вперед. В зале задвигались, зашумели. Председатель изо всех сил зазвонил в колокольчик. Комендант тщетно призывал к порядку расходившегося крестьянина:

— Сиди смирно! Нельзя так! Тут тебе не сходка!

— В чем дело? — крикнул выведенный из терпения председатель.— Кто там? Пьяный? Сейчас же выведите его из зала!

Наступила тишина.

— Дайте сказать! Только слово! — умоляющим голосом проговорил крестьянин.— Меня от двух деревень прислали... У нас знают Вали-бая. Крестьяне наказали передать вам, что таким, как Вали, нет места под солнцем. Я семьдесят верст пешком тащился! Недолго буду говорить!

— Здесь не сходка и не митинг! — сказал ему председатель и, обращаясь к коменданту, попросил: — Выведите его и объясните все!

— Это — материал для нас,— шепнул Шарафи Гайнетдинову. Тихонько поднявшись с места, он подошел к сконфуженному крестьянину и вместе с ним вышел в коридор.

Крестьянина и в самом деле прислали сюда от двух деревень.

— Я уж напугался. Ну, думаю, не выполнить мне

поручения земляков,— рассказывал крестьянин.— А они дали такой крепкий наказ — все одно что на лоб мне припечатали: иди, мол, скажи, что мы хорошо знаем собаку Вали. Таким зверям не должно быть места под ясным солнцем...

Шарафи позвонил в редакцию и срочно вызвал сотрудника Гарифа.

— Вот товарищ из деревни,— сказал он Гарифу, когда тот пришел.— Побеседуй с ним, сфотографируй. В завтрашнем номере газеты поместим портрет и материал под заголовком: «Таким нет места под солнцем!»

Крестьянин понял, что не напрасно он прошаркал в своих лаптях семьдесят верст.

— Темные мы люди, браток,— сказал он Шарафи, прощаясь с ним. —Зря я там шумел. Не осердятся на меня?

XLIX

Когда Шарафи вернулся в зал, начались выступления защиты. Ахми и Гимади защищал молодой юрист из коллегии защитников. В своем коротком слове он горячо убеждал судей, что Ахми и Гимади не преступники, что они — несчастные, опутанные классовым врагом, заблудившиеся люди. Он выразил уверенность, что судьи проявят к ним снисхождение и найдут возможность помочь им осознать свою вину и встать в ряды советских людей.

Адвокат Бинаров, защитник Иванова, только рассмешил всех своим выступлением. Заявив вначале, что Иванов не отрицает своей вины и полностью признает ее, Бинаров вдруг стал доказывать, что посадить его подзащитного на скамью подсудимых могли лишь в результате глубокого недоразумения, что это — величайшая несправедливость.

— Вот чудак, сам же подводит Иванова,— говорили в зале, встречая смехом чуть ли не каждое его слово.

Большой и весьма искусно построенной оказалась речь старого адвоката Арджанова. Видимо, он слышал о разговорах среди татар, что благотворительность Вали-бая — «щетинка со свиньи», и ловко использовал даже это.

— Нет, то было не «щетникой со свиньи»! — сказал он в конце этой части своей речи.— Все, что в свое время сделал щедрой своей рукой Вали Хасанов, он сделал на благо общества! Он был крупным татарским меценатом!..

Говоря о деятельности Вали-бая в совхозе, Арджанов делал упор на восстановлении совхозного хозяйства:

— Я не отрицаю его ошибок. Но поднять разваленный совхоз «Хзмэт» до образцового Вали Хасанов, безусловно, смог только лишь благодаря своей искренней преданности Советской власти, благодаря самоотверженной работе. Нет, он не жалел себя, он трудился дни и ночи, горел на работе...

Всей силой своего красноречия пытался Арджанов доказать несостоятельность определения прокурором меры наказания Хасанову.

Он не отводил вины от Хасанова. Пролилась кровь. Часть ответственности, конечно, ложится и на плечи Хасанова. Однако применение к нему 58[8] статьи защитник считал в корне ошибочным. Да, совершено убийство. Преступление огромно. Но в нем нет политической подоплеки. Это лишь несчастный исход самых обыденных склок. Следовательно, по составу преступления здесь должна быть применена не 58[8], а 136 статья.

Двухчасовая речь защитника, собственно, и была направлена на отрицание политической предпосылки преступления.

Салахиев еще в начале суда отказался от защиты и заявил сейчас председателю, что он объединит свою защитительную речь с последним словом. Прения сторон закончились.

На вечернем заседании с последними словами выступали подсудимые.

L

— Мы никак не могли поладить с Фахри. Между нами постоянно возникали споры. Но мысль об убийстве Фахри даже нечаянно не приходила мне в голову.— Вали Хасанов говорил тихо, усталым, удрученным голосом.— Его кровь пролилась по ошибке. Скрывать не могу: случалось, поскальзывался я прежде. Но с того дня,

как меня послали в «Хзмэт», я трудился честно, от всего сердца... Об этом я и хотел сказать людям, пока жив. А от судьбы не уйдешь.

К горлу его подступили слезы. Голос оборвался. Не проронив больше ни слова, он опустился на скамью.

Ахми говорил очень коротко:

— Что ж я могу сказать — споили ведь! Это и сгубило меня... Пугали все, что не будет нам жизни... А что я? Мы ведь слепые, темные совсем! — Он вдруг как-то весь склонился вперед и, закрыв лицо большой, заскорузлой ладонью, завыл тонко, жалобно.

Его странный плач, так похожий на крик оплакивающей мужа женщины, пронесся по всему залу. Люди всполошились. Комендант подбежал к Ахми с водой, начал успокаивать его, хотел вывести. Но Ахми, глотая слезы и вытирая рукавом гноившиеся глаза, уселся на свое место и затих.

Иванов говорил долго, последнее его слово свелось к самобичеванию, раскаянию:

— Глаза мои застилала пелена прошлого. Эта трагедия помогла мне сорвать ту пелену. Я не прошу ни прощения, ни снисхождения. Верю в объективность решения суда.

Гимади собирался сказать очень многое, но нужные слова не приходили на язык, не нанизывались так, как ему хотелось.

— У меня и язык не поворачивается говорить,— начал он сокрушенно.— Отец мой лет двадцать жил в Сибири. «Есть в Сибири темные, дремучие леса,— бывало, рассказывал покойный.— Встречаются в тех лесах зыбучие топи, сплошь заросшие высокой зеленой травой. Счастье, коли пронесет человека мимо тех топей. Но стоит ему ступить туда, как сразу затянет — по щиколотку, по колено, по пояс, по грудь — и засосет всего. Вот так же и я. Вали-бай все пугал, пугал меня. «Оба мы,— говорил он,— останемся из-за Фахри без угла на старости лет». Все на мозги мне капал, что от него только и ждать беды. Но я не велел убивать Фахри. Малость уму велел наставить, постращать... Ахми взял да спьяну и вовсе его сгубил. Так постепенно и увяз я. Тело спрятал. Шкворень подбросил. На кочегара наговорил. Затянула меня топь, всего затянула. Ежели судьи ради старости моей и бедности простят меня на

первый раз, даю клятву остаток жизни отдать верной службе Советам! Больше мне нечего сказать...

После старика вскочил Салахиев и опять принял позу человека, готового ринуться в бой против всего мира.

Нагимэ удивленно оглядела его и подтолкнула Гайшэ:

— Смотри, петушится-то как!

— Я не совершил никакого преступления! — начал воинственно Салахиев.— Я допустил ошибку — только ошибку! На борьбу Фахри и Вали Хасанова я смотрел как на личную распрю между ними. Не распознал классового характера их столкновений, не понял, что это было столкновением сил капитализма и социализма в сельском хозяйстве. Когда я приехал в совхоз с ревизией, Фахри просил меня: «Вернешься в город, непременно скажи, чтобы убрали из совхоза эту собаку!» Я возразил ему, сказал, что мало у татар подобных спецов, что их надо беречь! Фахри тогда рассмеялся: «Замечательный спец! Хочешь, я тебе таких из глины слеплю?!» В городе ко мне с тем же приставали Садык и Гайнетдинов. Я сумел победить всех. Вот эта победа и есть моя ошибка.

Ограничившись этим признанием, Салахиев перешел к выступлению Александры Сигизмундовны:

— Все, что она говорила здесь,— ложь от начала до конца! Бесстыдная, наглая ложь! В девятнадцатом году, когда я работал в Чека, эта женщина пришла ко мне в кабинет и, заливаясь слезами, упала в ноги. «Требуйте, что хотите,— умоляла она, — я на все согласна, только спасите моего мужа!» Я прогнал ее. Она явилась снова и пыталась обольстить меня своей молодостью и красотой, предложила стать моей любовницей, лишь бы спасти мужа. Я пригрозил, что, если она еще раз повторит такое, я рядом с мужем поставлю к стенке и ее. А мужа, белого офицера, по моему приказу расстреляли в тот же день. Теперь эта гадюка мстит мне за прошлое, пытается очернить меня своими подлыми измышлениями. Ее отец прежде был юрисконсультом у Вали Хасанова. Эти две семьи издавна близки. Она совратила с пути Иванова, хочет своим ядом и меня отравить!

Отрицая все и вся, Салахиев сказал в конце своего слова:

- Твердо верю — меня оправдают. Должны

дать. Если меня сочтут виновным, это будет ошибкой суда!..

Последние слова обвиняемых были заслушаны. Председатель объявил судебное следствие законченным. Судебная коллегия удалилась на совещание.

LI

Наступил вечер. На город опустились густые сумерки.

Мэриям-бикэ с трудом поднялась на ноги и, опираясь на сына, еле передвигая ноги, снова потащилась к высокому серому зданию, чтобы услышать самой, какая судьба ожидает ее мужа.

Определение государственным обвинителем меры наказания подсудимым мгновенно стало известно всему городу, облетело улицы, площади, проникло в дома — маленькие и большие, взбудоражило и друзей и недругов. Зал был наполнен до предела. Мэриям-бикэ с сыном пробрались через волнующуюся толпу в зал суда. В эту минуту председатель торжественно и неожиданно сильным для его больной груди голосом начал читать приговор:

— Именем Советской Социалистической республики...

Мгновенно воцарилась тишина. Зал слушал в напряженном безмолвии.

Мэриям-бикэ словно окаменела. Казалось, сердце ее перестало биться, сознание и все ощущения вдруг покинули ее. Мустафа стоял рядом с матерью, уже не испытывая никакого страха, и удивительно отчетливо чувствовал, как каждое произнесенное председателем слово впивалось прямо в его сердце. Трехлетний и пятилетний сроки заключения, к которым приговорили Ахми и Гимади, Салахиева и Иванова, он считал великим счастьем. Следующим был отец...

— Высшая мера социальной защиты!

То, что Мустафа предвидел, знал заранее, сейчас неотвратимо встало перед ним. Он судорожно вздохнул и обхватил за плечи мать.

Суд кончился. Люди стали расходиться.

Ахми, Иванов, Гимади, готовые нести наказание, по-… склонили головы. Салахиев же встретил приговор,